Б-50
29296

Евгений Бермонт

Глаза на Кузбасс

Молодая гвардия
1931

, ни косности, ни рывков, ни перебоев,
устирщины» (стр. 437).

К. Орджоникидзе призывал к тому,
ы наши кадры глубоко осмыслили зна-
е стахановского движения и разъясняли
массам, чтобы каждый осознал, что
хановское движение ломает все старые
ические нормы, старые проектные мощ-
и, оно создаёт новые технические нормы,
данно высокую производительность тру-
увеличивает заработную плату рабочих,
енеров и служащих, оно становится бо-
ейшим источником роста зажиточности
очих и всех трудящихся нашей страны»
. 403).

Пророчески звучат слова Орджоникидзе,
занные им в 1935 году: «Несомненно,
о стахановское движение так укрепляет
шу страну, делает её такой могучей, что
каким Гитлерам, никаким японским импе-
алистам нечего и думать о том, чтобы по-
гнуть хотя бы на кусочек нашей совет-
ой земли. Это не выйдет никак!» (стр. 392).

Между датами многих из публикуемых
книге статей и выступлений и нашими
ями лежит промежуток времени в 10—15
т. Далеко ушла вперёд наша страна за эти
ды. Крупнейшие изменения произошли во
ём народном хозяйстве Советского Союза.
днако многое из сказанного и написанного
рджоникидзе не потеряло своей

84
1Б50

евгений
бермонт

глаза на кузбасс

очерки

22206



молодая
гвардия
1931

Сдана в производство 7/V—31 г.
Подписана к печати 30/V—31 г.

Редактор *М. Гребенников*
Техредактор *А. Налимов*

13-я типография ОГИЗ'а
Москва, Денисовский, 30.
Уполн. главлита Б—3634
М. Г. № 1588. Инд. Д—3
Тираж 10.000 экзем.
Заказ № 4626
Авт. р. 4 л.
3 п. л.

поезд идет в кузнецк

Поезд идет в Кузнецк. Буран бросается ему под колеса. Снег слепит электрический глаз локомотива. Утром пургу сменяет пятидесятитрехградусный мороз. Пол в вагоне промерзает так, что можно бегать на коньках. Паровоз, как полярное судно, несет на себе тяжелый снеговой панцырь. У одной станции, набирая воду, он примерзает к рельсам. Два часа сотрясается поезд, тщетно пытаясь вырваться из ледяного капкана.

Кажется, что природа мобилизовала все свои силы, чтобы преградить путь завоевателям Кузбасса. Каждый поезд, отрывающийся от грязнейшего новосибирского перрона и устремляющийся на Кольчугинскую ветку, — это воинский маршрут, доставляющий на строительные позиции человеческие резервы. Сейчас идет вторичное завоевание Кузбасса. Только уже не разбойная ватага Ермака гонит из улусов горных шорцев, а социалистические батальоны, предводительствуемые геологами и инженерами, сквозь буран и тайгу, сквозь болота и ущелья, по трехметровым сугробам, через медвежьи логова при морозе, вдребезги разносящем термометры, штурмуют недра!

Что Ермак? Он не умел производить геологических разведок и не интересовался барзасскими сапропеллитами. Он согнал с берегов Томи скуластых монголов и поставил недалеко от ее истоков маленькую крепостцу.

Горные шорцы на узких челнах подбирались к ее ненадежным стенам, их встречал гул пищалей и пушек.

Царское правительство унаследовало казацкую крепость, подсыпало валы, углубило ров и поручило полсотне инвалидов беречь имперскую границу. На этом-то казарменно-гарнизонном фундаменте и вырос крохотный золотушный городок — обычное тоскливое уездное захолустье. Дремал сей городишко много веков и если бы его потребовали на исторический экзамен, он не мог бы похвастаться ни единым, маломальски значительным событием. Разве тем только, что как-то в зимние синие сумерки жандармская кибитка доставила сюда государственного преступника Федора Михайловича Достоевского. В одном из бревенчатых кузнецких домишек, сохранившихся и поныне, были написаны «Записки из Мертвого дома».

Делил Кузнецк судьбу всех российских уездов, рожденных на полицейском корню. Сплошной вековой спячкой было его длительное существование. Спали занесенные снегом улички, изредка тревожимые кандальным звоном, грустной музыкой арестантских партий. Спали в окрестностях раскольничьи села, угрюмо обороняя свои, протопопом Аввакумом оставленные, заветы и обычаи. Спали в горах шорские улусы и их смуглые обитатели, жили так, как жили здесь еще до нашествия Ермака. А в недрах мерзлой кузнецкой земли, в горбатых ее сопках, в скалистом хребте Алатау спало 400 млрд. тонн высших сортов угля, спала тельбесская железная руда, барзасские сапропеллиты, салаирский цинк, горючие сланцы, свинец.

Все это ухитрилось проспать до самого реконструктивного периода. Небольшое угольное оживление в северной части Кузнецкого бассейна мало отразилось на

тусклом облике района. Да и хозяйственное значение кустарных разработок наименее мощных пластов имело чисто местный характер. И только социалистическая пятилетка гневным толчком стряхнула вековую сонную одурь. По иному зажил Кузбасс.

Древние потрепанные декорации сняты. Вы начинаете замечать это уже в поезде — куда делись провинциальный покой и монотонная тоска глухой Кольчугинской ветки, где неизменный телеграфист от безделья перестукивается целый день с коллегой из соседнего полустанка, а начальник станции, забывший то время, когда он видел последнего пассажира, храпит на лавке.

Поезд идет в Кузнецк. Положим он больше стоит чем идет. Он часами торчит у завьюженных перронов миниатюрнейших станций Кольчугинской ветки единственной железнодорожной артерии Кузбасса. Мелькают красные шапки растерянных начальников. Тревожно позванивают телефоны в дежурках. Пассажирский зал, — если можно назвать залом дырявую, закопченную конуру с дымящей печью, — трещит, как чемодан, в который всовывают удесятеренную порцию клади. Люди пробивают себе путь к выходу, тараня толпу тяжелыми сундуками.

Полустанки, рассчитанные на улиточные темпы и комариные масштабы сонного Кузбасса, задохнулись, когда спящий проснулся. Нехватает паровозов, нет вагонов, нет людей, некуда принимать пассажирские и товарные составы. А маршруты идут один за другим и толкутся, как на ярмарке. С каждым днем их все больше и больше. Кузбасский верблюд должен пролезть в игольное ушко Кольчугинской ветки.

Мы стоим в Топках и ругаемся. Ругаем дежурного по станции за то, что не отправляет поезда, ругаем бу-

фетчика, у которого давно иссякли все съестные запасы, ругаем проводника, хмуро игнорирующего наши честно оплаченные плацкарты.

Как всегда в таких случаях, находится некто рассудительный и хладнокровный. Он пытается успокоить пассажиров, потушить их гнев, обрушиваемый на головы измученных людей в синих воротниках и с металлическим на них шифром. Чем виноваты эти бедняки.

Чем они виноваты, что в Кузбасс, где еще не так давно каждый пассажир был событием, ежедневно направляются целые роты трудового пополнения, ибо со всех концов обширнейшего Советского союза едут сюда маркшейдеры и помощники бухгалтеров, повара и забойщики, землекопы, врачи, инженеры, плотники, фармацевты.

Кузбасс — как полувысохшая речушка, которую ребятишки переходили вброд, вдруг волею весенних ручьев превращается в грозный поток. Население его в самый короткий срок с 55 тыс. возросло до 250 и продолжает возрастать ежемесячно, еженедельно, ежечасно.

Конечно железнодорожный костюмчик, сшитый на тощего провинциального подростка, трещит на здоровенном индустриальном парнюге.

Но давайте справедливо распределять «свет» и «тени». О «тенях» мы уже упоминули, а «свет» представлен тов. Шукевичем, начальником дистанции строящейся железной дороги. Он сидит напротив меня, поджав ноги в высоких валенках, и его седые волосы кажутся неуместными при энергичном молодом лице. Шукевич — один из тех, кто в горячих песках пустыни укладывал социалистические рельсы Турксиба. Сейчас он

командует авангардной колонной строителей, тянущих железную дорогу по горным склонам Темир-Тау. На станции Кузнецк его ждут сани, покрытые медвежьей полостью. Шукевич сует папиросу в зубы, плотнее запахивает доху и мчится в буран, в снега, туда, где сквозь тайгу и горы его отряд пробивает путь поездам к железорудным месторождениям.

Но это будет позже. Пока Шукевич сидит в купе и рассказывает своим спутникам о бывшем начальнике строительства Турксиба Шарове, теперь возглавляющем все железнодорожное строительство западной Сибири. Этот интересный, сильный человек найдет еще своего художника. Энергичная натура турксибовского командарма, его способность разбивать все стоящие на пути препятствия, личная отвага его, стратегический талант, умение находить людей и увлекать их собственным порывом; два ордена на широкой груди — один за оборону Ленинграда, другой за Турксиб — оправдывают восторг всех его соратников.

Теперь на его надежные плечи легла еще более грандиозная и еще более почетная, чем Турксиб, работа — выполнить же ее нужно не в три года, а в один год. И Шукевич заметно воодушевляясь, рассказывает о сооружаемой уже линии Ленинск—Новосибирск, которая прорубит окно из Кузбасса на Урал, о дорогах на Темир-Тау, Барзасс, о мосте через реку Томи, о всех тех работах, объем которых в три раза больше нашего прославленного, воспетого и поразившего всю Европу Турксиба.

Мы слушаем, и наше желчное настроение пропадает. Мы прощаем начальнику станции трехчасовую стоянку, буфетчику прорывы в снабжении, проводнику то, что он пустил в четырехместное купе семь человек.

Шукевич лезет на верхнюю полку и скрывается под волчьей дохой. Скоро оттуда доносится его могучий храп. К вагонному разговору, как к стогу сена, достаточно поднести спичку, чтобы он вспыхнул и пылал до тех пор пока не догорит последняя соломинка. Рассказ Шукевича и оказался такой спичкой. Место захрапевшего строителя занял молодой горный инженер из Томска, которому надоело сидение в проектной конторе, и он решил сменить ее на знаменитые забои знаменитого Прокопьевского рудника.

Инженер молод, он восторжен, горяч, и рыжие его веснушки во время волнения пылают, как южные звезды. Он отчаянный патриот Кузбасса и готов растерзать всякого, кто неуважительно отзовется об естественных богатствах последнего. Знают ли например невежды, едущие с ним, что в Прокопьевске есть угольные пласты, толщиной в 30 метров? В Донбассе, когда отыщут двухметровый пласт, пляшут, как дикари, от такой удачи. Вообще даже смешно — рассказчик улыбается — сравнивать кузнецкого тигра с драной донбасской кошкой.

Можно спорить только о тоне его заявлений, возражать по существу не приходится — он прав. Рядом с пятнадцатикилометровыми и выше прокопьевскими пластами угля, таящиеся в донецких недрах, выглядят очень скромно.

Кстати о недрах. Мы привыкли под этим словом понимать нечто, расположенное очень глубоко, скрытое километровыми расстояниями, запрятанное где-то, выражаясь не совсем точным языком, у чорта в зубах. Кузбасские недра несколько нарушают наши обычные представления. Уголь например сплошь и рядом выпирает наверх, будто его кто-то вышибает ко-

ленкой. Иной раз он стыдливо прикрыт почвенным покровом, порою прямо выставляет наружу свое черное глянцевитое искрящееся голое тело. Будто просит — прийди и возьми. Иди же, чорт побери, смотри, какой я красивый!

Тут чуть ли не каждый деревенский житель имел собственную, этакую лопатного масштаба, шахту. Крестьянин брал ведра и отправлялся в ближайшую сопку, как к себе в сарай. Несколько ударов кайла—и нужный запас есть. Каждый сам себе топливный заготовитель. Ведь здесь живут и ходят на угле. Где ни копнешь—черное золото, источник тепла и энергии, пища индустрии. 71 процент всех угольных запасов огромного нашего союза—вот здесь, на небольшой сравнительно площади, в снежной котловине между Салаиром и Кузнецким Алтаем. 71 процент, 400 млрд. тонн—астрономические цифры, большие, чем у мировых угольных чемпионов — Германии (256 млрд. тонн), Англии (180 млрд. тонн).

— И количество, и качество, — говорит инженер, вынимая из желтого баула какой-то толстый справочник,—качество-то, а? Точно по заказу ВСНХ приготовлен. Все известные мировой науке сорта у нас здесь есть. Все! А свойства—вот слушайте: редкая спекаемость, исключительная стойкость, высокая теплотворность, незначительный процент серы и золы. Зольность донецких углей доходит до 17 процентов, а здесь не бывает больше 11 процентов. Коксуемость—здесь все коксуется. А уголь с плата «Мощного» в Прокопьевске идет в доменную печь без коксования. Слыхали?!

Он захлебывается, восторженный этот инженер. Захлебываются и слушатели, хотя многие из них весьма

смутно понимают, что такое теплотворность и почему хорошо, когда уголь стойкий.

— А себестоимость! Вот табличка. Добыча одной тонны угля в Донбассе обходится в 8 рублей, а в Подмосковном бассейне—10 р. 70 к., у нас—по 5 р. 90 к. А в Прокопьевско—3 р. 50 к., и это в условиях, когда почти все руками добываем, в то время как Донбасс механизирован сносно.

Только в старой тупой полуфеодальной империи Романовых могли лежать под спудом такие богатства. Правда, капиталистический хищник проник сюда еще до империалистической войны, но хозяйничал он так, как обычно хозяйничал алчный на наживу и тугой на рациональные расходы, боящийся всего нового русский купец. Азиатские черты были присущи его промышленной и коммерческой деятельности,—как можно больше хапнуть, сожрав при этом, подобно крыловской свинье, и корни дуба, дающего желуди.

Рудные запасы Кузбасса не были исследованы, геологической бурав любознательно не обшаривал его недра, уголь рвали торопливо, примитивно и хищнически, объем был до смешного мал: примерно если бы стали черпать океан чайной ложкой.

Но и в советские времена не легко далась Кузбассу его всесоюзная теперь популярность. Тут нужно воздать должное заслугам томского профессора Усова, первого серьезно исследовавшего этот богатейший район. Ученый положил много трудов и на личное обследование бассейна, и на лабораторные опыты, и на первые сложные расчеты.

Мне рассказывали, что Усов, когда брался за работу, осторожно поделился некоторыми своими соображениями с учениками.

Примерно я предполагаю, что десятка два миллиардов тонн в этом брюхе зашито...

Неисповедимыми путями это скромное заявление томского профессора стало известно в Москве. Тут оно вызвало бурю в руководящих тогда геологических сферах. Усова готовы были заклевать разъяренные курицы с ведомственного насеста. Они хотели превратить его в дурака, в неуча, в сумасшедшего...

— Да это не профессор,—писали и говорили в Москве,—а какой-то фантаст из «Мира приключений», университетский Жюль Верн. Он или ничего не понимает или сознательно морочит всем голову. Откуда в этом жалком бассейне такие запасы. Вы пошутили, коллега? Ну сознайтесь!

Прошло не мало времени, пока томский ученый «сознался». К этому покаянию привели его неопровержимые данные геологических разведок, многократно проверенные лабораторные опыты.

— Да, я ошибся,—сказал профессор Усов, мало повидимому смущаясь происшедшим с ним конфузом,— да я ошибся, серьезно ошибся, заявив, что угольные запасы Кузнецкого бассейна равны десяткам миллиардов. Они равны 400 млрд. тонн...

Теперь и эта огромная, ставшая официальной цифра многим местным работникам кажется преуменьшенной. То в одном, то в другом месте люди случайно натыкаются на угольные клади. Роют колодец—стоп, уголь; закладывают фундамент—вдруг лопата запнулась и выкинула наверх черную в блесках пыль.

Уголь без дна, без предела...

Тот же неугомонный профессор Усов сделал новый, на основе новых данных подсчет. Он утверждает, что кузнецкое брюхо набито не менее, чем 1 160 млрд. тонн

угля. От таких цифр кружится голова у самых смелых мечтателей, наш томский спутник смущенно улыбается, мы смотрим недоверчиво и чуть насмешливо, а люди со скептической жилкой начинают сердито отплевываться, ворча о дурацких фантазиях увлекающегося старика.

Последний усовский подсчет официально еще не признан. Однако в рудничных кругах, у людей забоя и технических низов он имеет успех: товарищи уверенно говорят, что когда геологические разведки тщательно обшарят бездонные горные карманы, они преподнесут нам много ошеломительных сюрпризов!

Роль главковерха этой «доблестной гвардии» пала на долю Ларичева. Он даже приезжал в Кузбасс, спускался в шахты, карабкался в штольнях, проникал в самые отдаленные и мрачные зоны, вкрадчиво беседовал с инженерами. Он прикидывался неподкупным жрецом чистой науки, которая, дескать, требует, несмотря на все личные его стремления помочь коллегам в их тяжелом труде, свертывания работ.

— Только неопытные энтузиасты,—сокрушенно качал головой дипломированный шпион, лезший из кожи вон, чтобы протащить вредительские планы,—только неопытные энтузиасты могут пичкать себя и других фантастическими бреднями о кузнецком угле. В интересах социалистического строительства вкладывать сюда средства безумно, преступно...

Песню свою Ларичев допел на скамье подсудимых в Колонном зале. XVI же партийный съезд положил конец всей вредительской возне вокруг Кузбасса, постановив создать там вторую всесоюзную угольно-химическую и металлургическую базу, восточную часть гигантского Урало-Кузнецкого комбината.

Эту часть комбината я не без труда отыскал на обширнейшей карте Советского союза. На широких просторах огромной Сибири она выглядит маленьким зеленым лоскутком с коричневыми разводами Салаира, с тигровой кожей Кузнецкого Алтая. Южнее Новосибирска, у узловой станции Юрги, начинается угольная страна. Слабосильный паровозик волочит туда наш обледенелый, почтовый состав. Я слежу в окно за живой картой Кузбасса.

Вот мелькнул ржавый клюв станционной водокачки. Сугробы на перроне и шагающий по ним дежурный в собачьей дохе поверх форменной шинели. Кольчугино. Тут самые старые механизированные рудники и самые слабые угольные пласты.

Поезд идет дальше. Топки. Станция знаменита тем, что поезда здесь застревают, как брички в ужасающей кузнецкой грязи. Отсюда бежит тридцативосьмикилометровая ветка к Кемеровскому руднику и городу Щегловску, бывшему недавно окружным центром. Там, на правом берегу Томи, сооружается сейчас гигантский Коксохимический комбинат и Теплоэлектроцентраль в полмиллиона киловатт, почти Днепрострой. Узенькая, таежная, санная дорога, едва пробивающаяся в снегах, ведет в Барзасс, богатейшее в мире месторождение сапропеллитов.

Станция Белово. Можно, пользуясь неторопливостью нашего поезда, быстро смотаться и посмотреть на новехенькие стены пущенного 1 января цинкового завода. Этот первый в СССР цинковый завод поступил в эксплоатацию почти на год раньше срока.

Станция Усяты. Сквозь морозную мглу едва проступают контуры прокопьевских сопок, до вершин начиненных углями, будто их специально фаршировали. Но

не будем портить зрение, вглядываясь в туман. Мы еще вернемся сюда. Мы еще побываем в угольных галлереях Прокопьевска, на кемеровских стройках, в медвежьем базрасском логове, в горном Тельбессе и у его не менее живописного соседа Темир-Тау.

Но что за суета и шум в притихшем было вагоне? Почему все бросились к окнам?! Почему отчаянно дышат на стекла, скребут их, пытаясь продолбить глазок в толстой снежной ткани, сработанной великим мастером—сибирским морозом.

— Кузнецкстрой,—торжественно объявляет Шукевич, сбрасывая с полки собственную особу, завернутую в непроницаемую меховую броню,—строительство Кузнецкого металлургического гиганта.

Поезд дальше не идет. Некуда!

трубы на болоте

В шести километрах от Кузнецка расположена неглубокая котловина. Место это еще недавно пользовалось блестящей охотничьей репутацией. Его болотные камыши скрывали всякую пернатую тварь, а на лесистых холмах прыгали, точно акробаты госцирка, ловкие козули. Как рыба на приманку шли издалека все одержимые охотничьим азартом, чтобы неделями с ружьем и собакой бродить по кочкам и топям кузнецкой котловины.

Несколько лет назад пожаловали сюда люди без собак и ягдашей. Они раскинули большие ладные палатки, жгли вечерами костры, отгоняя вреднейшую мошкару, внимательно измеряли топкую и болотную пло-

щадь. Потом рядом с походным складным жилищем стали рубить избы, бараки, казармы, смастерили крохотную баньку, сложили из неоструганных бревен нечто напоминающее столовку.

Зверье тревожно прислушивалось к незнакомому стуку молотков, утки нервно крякали, предчувствуя, что придется искать новое пристанище.

Проезжавший мимо крестьянин, кержак из Яила, смущенный необычным оживлением на болоте, попридержал лошадь:

— Бог на помощь! Шо строите?

— Без бога строим, товарищ. Строим металлургический завод.

— Шо-о?!—Человек, в высоких сапогах, усмехнулся.

— Тут будет, братец, Кузнецкий металлургический завод, который даст Советской стране полтора миллиона тонн стали и чугуна. Понимаешь? Вот там, видишь, где камыш, будет 15 мартеновских печей—в мире нет такого цеха. Там вон шесть домен. Там под горой прокатный цех длиною в полтора километра. Там электростанция мощностью в два Волховстроя. Там коксовый. Там литейный. Там...

— Шутники!—отвернулся кержак,—насмешники!—уже рассердился он и ударил по лошадям.

Однако люди эти не шутили и не насмехались, как показалось обидчивому раскольнику. Число их возрастало с каждым днем. К стуку молотков прибавилось тяжелое дыхание паровых машин. Утки спешно перебрались в более спокойные края, так как до их болотной обители добрались беспощадные мелиораторы. Если какая-нибудь легкомысленная козуля рисковала возвращаться в родные места, то она моментально попадала под медную крышу кухонного котла.

Я уже не застал на Кузнецкстрое тайги, уток, коз, охотников, болота. Все это было в прошлом и уже успело порасти жирным мхом легенды. В наше стремительное время неделя стоит года — и то, что происходило несколько лет назад, кажется давно-давно прошедшим.

Я ехал со станции пять километров по шоссе, о котором мне рассказали, что оно уложено этой осенью в десять дней, людьми, по пояс вязнувшими в холодной отвратительной глине. Болото не хотело покорно лечь под тяжелые бруски дороги. И его смирили, заставили покориться воле человека. Это не было простым рекордсменством, бесцельной трудовой лихостью. Поведение рабочих было продиктовано тем чувством, которое в девятнадцатом году кидало в штыковую атаку на бронепоезда,—шоссе нужно было уложить во что-бы то ни стало, иначе осенние работы на строительстве сорвались.

Площадка Кузнецкого строительства—это огромный трудовой лагерь, где работает тысяч двадцать человек, а живет в возникшем у лесов поселении много больше. Поселение это растет и расползается на ваших глазах. Вчера например вы заметили какой-нибудь пустырь, сегодня на нем уже торчит из снега деревянная основа будущего жилища. Дома выстраиваются в кварталы, кварталы вытягиваются в улицы, улицы группируются в районы—верхняя колония, нижняя колония.

На центральном проспекте площадки движение, как в Москве на Мясницкой. Сплошной человеческий поток. Плывут тяжелые овчины и короткие медвежьи куртки. По дороге мчатся легкие санки, тянутся нескончаемые обозы, груженые снегом, землей и лесными материалами, непривычные лошади испуганно воротят

заиндевевшие морды, когда сзади налетают новенькие «форды», колеса которых, обмотанные железными цепями, рвут дорожную мерзлоту.

Грузовики со страшным треском проносятся мимо, гулом своим соперничая с гусеничными тракторами, флегматично таскающими тяжелейшие клади. По рельсовым путям, густо изрезавшим площадку, ползут паровозы, волоча длинные хвосты вагонов и оглашая воздух симфонией гудков от пискливого дисканта крохотной кукушки до басистой сирены сормовского локомотива. Вот во что превратил кузнецкое болото второй год социалистической пятилетки.

Уже стало литературным штампом, описывая бурное наше строительство, искать в его облике военные черты, сравнивать нынешние бои с боями девятнадцатого года. Фронтовая стремительность, характерная для социалистической стройки, вводит нашего брата в искушение воспользоваться поэтическим арсеналом войны.

Особенно сильно такое искушение, когда пишешь о Кузнецкстрое. То, что стройка идет в пустыне, у самой тайги, далеко от крупных городских центров, в суровой сибирской обстановке еще более усиливает отмеченное сходство.

Ну как например не назвать главнокомандующим штатского человека Ивана Алексеевича Бородина, временно управляющего строительством? Вот его обширный и светлый кабинет. Усталый, бледный человек в шерстяном свитере и фетровых бурках сидит за письменным столом. С обеих сторон его стерегут телефоны. Они не дают ему просмотреть папку с бумагами, не разрешают закурить папиросу, противятся, когда он пытается проглядеть передовую «Правды», добравшуюся сюда из столицы на восьмой день.

Звонок. Если не пришлете плотничье подкрепление, тепляк не будет во-время готов, и мороз сковырнет все наши темпы! Главнокомандующий кого-то вызывает и дает приказание бросить туда подошедшие резервы. Звонок. С доменного сняли кран, эту тяжелую артиллерию монтажных работ, и последним грозит остановка! Бородин хватает другую трубку и, повинуясь лаконичному приказу главковерха, уже ползет к лесам долговязый и сгорбленный механический силач.

Звонок. На Кузгрэсе нет ни одной щепки. Звонок. Замерз водопровод на мартене! Звонок. Нет гравия на доменном! Звонок. Нет гравия на мартене! Звонок. Нет гравия на коксовом! Звонок. Нигде нет гравия! Звонок. Гравия нет!

Оставить площадку без гравия, необходимого для бетонных работ, это все равно, что лишить армию патронов. К обледенелому крыльцу штаба подается машина. Помощник управляющего Александров, главный инженер Бородин, заведующий плановым отделом Брудный сбегают по ступенькам вниз. Стрелка автомобильной скорости рванулась к семидесяти. Снежные комья летят в лицо. Машина идет к гравийному карьеру.

Карьер возникает из морозной молочной мглы высокой кирпичной трубой. Шофер тормозит. Навстречу приехавшим выбегает некто, обмотанный рыжим шарфом. Почему не подается гравий?! В чем дело?! Что случилось?! Замерз! Морозом превращен в закаленнейшую сталь, о которую гнутся ломы и лопаты сворачиваются, как бумага на огне.

— Взрывать!—приказывает главный инженер.

Все идут к карьеру. Туда уже стягиваются подрывные части. Слово получает динамит. Оно звучит глухо и мощно. Гравийные глыбы ворочаются, как морские

валы. На поверженного врага идет в атаку лопатно-ломовая пехота. Гравий будет! Гравий потечет бетоном в деревянные футляры, чтобы потом, сбросив дощатую шелуху, встать стройными стенами металлургического красавца. Так пахнет жизнь на Кузнецкстрое. Она не располагает к меланхолическому унынию, к сонному перевариванию своих чувств. Тут невозможно отыскать компанию, часами мучающуюся за преферансом. Все живут, как в походе. Каждую секунду нужно быть готовым к бою, к переменам, к препятствиям, к столкновению — если нет неприятельской конницы, то ее с успехом заменяет буранная кавалерия сибирской зимы.

Я иду в контору доменного цеха. Только обладая солидными запасами вежливости можно назвать так деревянную конурку, где работают начальник Борискин и прораб Дрозд. Рыжая, глиняная печурка дымит. Ледяное пятно лежит на стене. Голова Борискина в меховой шапке свисает над столом. Тощий и длинный Дрозд стоит в углу, как скала.

Если выдерживать дальше военный стиль, то можно сказать, что из штаба командующего, мы попали в батальонную землянку, прямо в строительные окопы. Тут немного «прохладно». Прохладно настолько, что желтая жидкость недопитого чая покрывается тонкими ледяными иглами.

Близость «боя» чувствуется не только по шуму и лязгу за окном. Вот распахивается дверь, и в морозном облаке врывается встревоженный десятник. Показалась подпочвенная вода. Следом вбегают еще двое, неся на курносых пимах сугробы снега. Нет клепки, сборка печи останавливается! Еще не успел открыть рот Борискин, чтобы распорядиться, а уже снова рвется со двора пар,

и очередной гонец вырастает перед столом. Лопнул водопровод — и приходится прервать бетонировку!

Длинные ноги быстро уносят прораба. Он мелькает в сугробах, как заяц. Вот он уже в том тепляке, где показалась подпочвенная вода, и отрывисто приказывает ставить насос. Насоса нет. Два молодых рабочих бегут за ним в соседний цех. Дрозд же, оставив инструкции десятнику уже летит к домне, где иссякли клепки. По дороге его перехватывает рабочий с сообщением, что кран не может взять кольцо каупера. Прораб сворачивает назад, но на пути вырастает бригада огнеупорщиков и шумно требуют отепления — нельзя работать, цемент замерзает прежде, чем возьмешь его на лопатку.

Борискин энергично бранится по телефону с кем-то из управления строительством. Он требует кранов, клепки, рукавиц, плотников, лесу, он кричит, что план земляных работ выполнен только на 26½ процентов, а монтаж — на 40. Чорт знает, что такое! Что вы там делаете в своих кабинетах?! Что вы на плечах носите?!

Управление строительством помещается в большом трехэтажном доме, в котором еще не настланы полы, не высохли как следует стены, пахнет цементом, отсыревшей пылью. Тут составляются стратегические планы трудового натиска. Ежедекадно в кабинете управляющего собирается военный совет, носящий скромное суховатое название конъюнктурного совещания. Горячие дебаты разгораются за длинным, покрытым красным сукном столом. Первое слово обычно получает Брудный.

О заведующем плановым отделом стоит поговорить отдельно. Лохматый, долговязый, в черной кожаной тужурке, видимо твердо решивший не бриться до успешного завершения работ особого квартала, он является здесь блюстителем большевистских темпов.

Страна ведет социалистическое наступление. Каждый год в атакующие ряды вступает очередная индустриальная колонна. Не присоединиться в точно указанный срок к наступлению — значит порвать стратегические чертежи революции. Это ясно понимают строители Кузнецкстроя. Их срок подходит. Осенью, 1 октября должны быть зажжены одна домна и четыре мартена. Только не ослабляя ни на одну секунду темпа, не срывая четкости и напряженности работ, можно во-время занять свое место в победоносном шествии.

За этим следят Брудный и его отдел. Они крошат квартальные планы на декадные боевые задания. Они зорко наблюдают, чтобы эти, на точном расчете построенные, директивы выполнялись. Долговязая фигура заведующего плановым отделом мелькает во всех цехах. Он лазит, проваливаясь в снег, по земляным траншеям, карабкается по узким настилам строек, появляясь везде стремительно и неожиданно.

Брудный внимательно расспрашивает прорабов и десятников, подолгу беседует с рабочими у костров, грея свои длинные озябшие руки. Он проверяет свои цифры и плановые наметки здесь, непосредственно на стройке, пробует их на ощупь, на зуб, на вкус.

Он неумолим, этот добрейший юноша, сочетающий в себе бурную страстность агитатора с хозяйственной сметкой. Он не прощает даже самого крохотного снижения плановых цифр. Он не хочет слушать оправданий прораба, ссылающегося на то, что заболел десятник или бетономешалка получила увечье, а посему... Он знает, что революции нужен кузнецкий чугун, что революция требует кузнецкую сталь, что трубы должны задымить во-время, что к этому следует итти сквозь все препятствия, оставляя в стороне ворчание и жалобы малодуш-

ных, преодолевая исконную нашу сонливость, бытовую ленцу, привычку откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Темп — властитель дум на Кузнецкстрое. Во имя его, во имя скорейшего построения социалистического фундамента люди совершали то, что казалось невозможно было совершить. Бетонировать при пятидесятиградусном морозе нельзя. Но бетонировали! Рыть глубочайшие ямы в земле, которая крепче самого крепкого гранита нельзя. Но рыли! Обшивать стройку тепляком в то время, когда буран, этот бич Кузбасса, неистовствует на площадке, нельзя. Но обшивали!

Все лето работали без механизмов. Руками подняли целые Эльбрусы земли. Только 14 августа появился первый экскаватор, этот железный крот, этот неустанный гениальный землекоп. В декабре их было шесть. Что касается седьмого, то хотя его и доставили на площадку, но шестерни заслали в Магнитогорск. Тыл остается тылом. Его невнимательность, небрежность, обломовская неповоротливость, канцелярская придирчивость и бестолковость вызывает у работников строительства зубовный скрежет.

Люди берегут каждый час, воруют минуты собственного отдыха, стараются не израсходовать на обед лишней секунды. Все это делается для того, чтобы взять высокий, достойный социалистической стройки, темп. Если например сегодня в одном цехе временно сокращаются плотничьи работы, то рабочих на этот день перебрасывают в другие места. Рубанок не должен лежать без дела. Ни одного прогульного мгновения. Ни единой безработной минуты.

И вдруг люди, еще не успевшие отереть трудовой пот, должны сесть, отложить инструмент, сложить руки и

флегматично плевать в потолок день, неделю, месяц. Представьте себе моральное состояние такого вынужденного прогульщика, рискните подумать, какими словесами он благословляет виновников своего безделья. В чем же причина его? Почему такое происходит? Кто виноват?

Цехи Кузнецкстроя проектируются в Москве. Важнейшей этой работой занят главным образом Стальпроект. И делает он порученные ему проекты с такой аккуратностью, что заслуживает самого крепкого прокурорского нагоняя. Рабочие чертежи доставляются на строительство тогда, когда по плану следовало бы уже кончать земляные работы. Проект прокатного цеха пришел только в декабре.

— Этому учреждению,—сказали мне работники мартена,—этому, чорт его побери, Стальпроекту хорошо давать в разработку план своей смерти — вот тогда долголетием будешь обеспечен. Кстати, как у них чистка аппарата, уже была?..

Железные конструкции для доменного цеха изготовляет Сталинский завод в Донбассе. Он присылает сначала верхние кольца каупера, потом — нижние. Но строить крышу раньше фундамента невозможно. И вот присланные конструкции лежат, а рабочие, которые должны клепать кольца кауперов, сидят без дела.

Я стою у окна. Над мартеновским цехом, полузатушеванном дымом многочисленных костров, возвышаются две прямые, как карандаши, высокие, как мачты фрегата, стальные колонны.

— Это еще миниатюрки,—говорит Бородин, вставая из-за стола,— есть похлеще. Есть колонна, которая весит 53 тонны, другая—43 тонны. У нас же всего два слабосильных крана — Дерика, которые получают гры-

жу, только взглянув на них. Мы просили четыре мощных крана, нам дали один. Как он может справиться? На Днепрострое 40 таких мощных силачей. Дали бы нам один. Вот...

Бородин забыл, что его стерегут два телефонных пса. Один уже звенит цепью. Другой вторит ему. Главнокомандующий возвращается на свое место. Я смотрю в окно. Высоко подняли свои кирпичные плечи корпуса готовых цехов. Кузнечный, механический, ремонтно-строительный и огромный шамотно-динасовый ждут пуска. Куда ни взглянешь — трубы. Одни уже дымят, другие задымят очень скоро.

А когда задымят все трубы, таежное небо загорится багровым искусственным закатом. Ручьи чугуна и стали хлынут в песчаные формы. Сибирь получит металл.

Наша черная металлургия географически размещена чрезвычайно неудачно. Около 90 процентов ее предприятий сосредоточено в европейской части Союза, на юге, главным образом на Украине. Если сталь или чугун нужно доставить в Сибирь, то получается, что за морем телушка полушка, да рубль перевоз.

Много недель тащится маршрут из Донбасса в Новосибирск. Каждый промелькнувший семафор, каждая, оставшаяся позади железнодорожная будка отлагаются дополнительными пятаками на стоимости металла. Когда поезд, вышедший из Украины, доберется до Самары, тонна чугуна вздорожает на 19 руб., когда он достигнет Свердловска — еще на 6 руб., когда засвистит у Новосибирского перрона, набегут новые семь целковых.

Когда же паровоз наконец переведет дух в Иркутском депо, каждая тонна доставленного им металлического груза поднимется в цене на 45 руб.

Сибирский край — природный богатей, чьи горные сундуки набиты всяческой рудной кладью, чьи дремучие леса тоскуют по энергичному топору заготовителя, чьи жирные урожайные земли ждут машинного вмешательства полевой индустрии.

Пятилетка заложила и заложит еще в ближайшее время много заводов в Западной Сибири. Край уже начал ликвидировать свою индустриальную неграмотность. Каторжная вотчина русского императора превращается в большой промышленный район всесоюзного значения. Грандиозный Сибкомбайн выпустит на хлебные поля стаи стальных пахарей. Судоверфь снарядит воды Оби и Томи пароходной амуницией, завод металлических конструкций будет надежным подспорьем многочисленным нашим строительствам, а завод горного оборудования станет базой реконструкции рудничного хозяйства, избавив шахтеров от малопродуктивного, унылого ковыряния в забоях. Но для всего этого нужен металл. Его и должен дать Кузнецкий металлургический завод, уже готовящийся вынуть из строительных чехлов свои еще не задымленные трубы.

Возьмите карту Советского союза и в восточной половине его, на Урале, немного южнее Челябинска, отыщите отмеченную звездочкой гору Магнитную. Ее рекомендует уже само название, и дальнейшие аттестации излишни.

У подножия этой горы и строится сейчас сверхмощный металлургический, популярный, как Днепрострой, Магнитогорский завод. Будучи обеспечен рудой, как говорится, по самое доменное горло, он не имеет необходимого количества нужных сортов угля. Следовательно заводу необходим компаньон, который обеспечил бы его топливом высокого качества. В двух же ты-

сячах километров от Магнитогорска расположен Кузбасс, новая всесоюзная кочегарка, бездонная угольная мошна. Вот из этого, не совсем, правда, близкого, соседства и возникает Урало-Кузнецкий комбинат, построенный на принципе «обмена веществ».

Принцип сей очень прост и не требует длительных пояснений. Поезда, груженные кузбасским углем, пойдут в Магнитогорск, а оттуда, полнехонькие уральской рудой, вернутся к домнам и мартенам Кузнецкого металлургического завода. Два гиганта, к взаимной выгоде, будут непрерывно обмениваться сырьевыми излишками.

Трубы на болоте! Болото в трубах! Бетон там, где пели лягушки и вили гнезда пернатые обитатели камышей. Бетон и кирпич. Вот лезет стальной жирафообразный кран. Вот поволокли по рельсам экскаватор. Шумно изрыгает бетон машина. Рванул воздух динамит. Карабкается на холм гусеничный трактор.

Где болото? Где утки? Где сибирская глухомань? Где вековая тишина и вековая неподвижность? Где раскольничьи скиты, где семнадцатый век, ужившийся с двадцатым?

«Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка!»—комсомольцы идут на субботник.

ударники-комсомольцы и мороз

Лучи ярчайших прожекторов. Сконфуженная, побледневшая, поблекшая луна, точно бедная родственница, прячется в облачный платочек. Ночь, вытолкнутая электричеством, отступает к холмам. Кузнецкстрой кажется театральными подмостками, где изобретательный ре-

жиссер упражняется в создании световых и шумовых эффектов.

На постройке электростанции снопы белесого света. Рабочие плетут железные крючья бетонного скелета. Прораб Петровых отдает распоряжения и в антрактах между ними спит. Он стоит также твердо, чуть прислонившись к стенке и засунув руки в карманы, только голова его под тяжестью дремы слегка клонится на меховой воротник тулупа.

Прораб — ударник и работает без смены. Он забыл, что такое нормальный сон, сон на подушке и под одеялом, спокойный сон беззаботного человека с легким посапыванием и лирическими сновидениями. Земляные работы в минувшую декаду выполнены только на 20 процентов. С высокой трибуны конъюнктурного совещания об этом зловеще поведал Брудный, подгорчивший и без того горькую пилюлю доброй порцией саркастических замечаний.

Мерзлые, окаменевшие, звенящие, как металл, пласты земли давят душу прораба, давят постройку, грозят расплющить темпы и планы, сорвать четкий шаг строительных работ. Петровых уже видит в своем полусне, как отстал от общей стройки Кузгрэс, как лишенные его живительной энергии беспомощно заковыляли прочие цехи, как они повисли тяжким грузом на общезаводском плане и осенью 1931 года не загорелась над сибирскими степями кровавая доменная заря.

Поэтому прораб не уходит из цеха. Он мог бы конечно уйти, плюнув в сторону язвительного Брудного, мог бы сказать, что два раза мороз рвал холодную струю водопровода, что гас свет, и злобная ночь, спустившись с холмов, кидалась на леса. Тогда разгоряченные работой люди скрежетали зубами, чувствуя себя

беспомощными, как слепые котята. Но вот проходил первый момент злобного бессилья и рабочие жгли просмоленную паклю, складывали невысокие, опасаясь пожара, костры и в неверном, колеблющемся их пламени продолжали свое дело.

Все это мог высказать в свою и своих соратников защиту кузгрэсовский прораб. Но социалистическому ударнику не до мелкого, куцого самолюбия. Пусть говорят, что хотят, капитан не покинет мостика, если на палубе кипит штормовая пена. Петровых спит на ходу и в крохотной деревянной, недавно срубленной конторке, где от стен идет холод, как от полярных льдов, а железная печь дышит африканским зноем. Прораб спит и во сне ругает транспортный отдел, который дает ленивых коновозчиков, дрянные сани и дохлых лошадей. Прораб спит и бодрствует в одно и то же время.

Американские инженеры, молчаливые, деловые, аккуратные, наблюдая его, удивленно морщат лбы. Многое непонятно им в этой чудной и чудно́й стране. Им кажется, что река человеческого сознания потекла вспять. Почему например рабочие Кузгрэса, отбыв свою смену, не уходят домой, к семейному очагу, к цветочным горшкам и жирному борщу, а, столпившись в конторе цеха, горячо о чем-то спорят. Это происходит всегда в определенное время и называется летучим производственным совещанием, где проверяется выполнение ежедневных заданий.

Плотники дают советы инженерам, а инженеры, дипломированные знатоки строительства, гостеприимно распахивают перед ними свои записные книжки. Вот например горячится и взмахивает меховыми рукавицами человечище в узорчатых пимах. У него есть свой рецепт расстановки людей в землекопных артелях, и он

настойчиво требует к нему внимания. И если прораб кисло улыбнется, начальник цеха отрицательно качнет головой, расписные пимы пойдут в кабинет помощника управляющего по рабочим предложениям, будут настойчиво топать около письменного стола.

Кто видел, как с верфи спускают только что отстроенный пароход? Кажется невероятным, чтобы эта неуклюжая, со всех сторон подпираемая подставками громадина смогла держаться на воде. Но беспомощный при всей своей броне-мачтовой мощи корабль сразу преображается, когда его тяжелое тело принимает крутая волна. Так и все наши строительные программы, грандиозные проекты индустриализации страны, только спущенные с плановых верфей в океан рабочего энтузиазма, делаются реальными, осуществляемыми, доступными.

Эти-то творческие родники, бьющие из пролетарской массы, непонятны заатлантическим нашим помощникам, порой сбивают их с толку, порой изумляют и восхищают. Американец в странной шапочке, закрывающей уши, в зеленых шерстяных гетрах, человек со всегда строго, сурово сомкнутыми губами, в моем присутствии так разинул рот, что коротенькая его трубка чуть не выскользнула в снег.

Он утром через переводчика недовольно выговаривал прорабу мартена, что печи для разогревания гравия плохи и их мало. Он лез крепким своим ботинком в печное жерло, сердито расшатывая неустойчивые кирпичи и скалывая с них желтую кору глины. Прораб беспомощно оглядывался и мучительно краснел.

Тогда из толпы внимательно прислушивавшихся рабочих вышли каменщик Широков и председатель цехового комитета строителей Лотов. Они лаконично сооб-

щили прорабу, что печь будет к вечеру и пусть он доведет об этом до сведения «мистера». Прораб повернулся к переводчику, переводчик отчаянно заработал нижней челюстью, американец сухо, даже чуть недовольно взглянул на смельчаков.

Широков и Лотов потрясли свои кисеты. Потом они закурили махорку и ударили по рукам. Через 10 часов на снежной площадке выросла ладная, аккуратная, чисто сработанная печь. Ее уже можно было растапливать. Семь тысяч кирпичей было уложено в тот срок, в который полагается при самых благоприятных обстоятельствах уложить две тысячи.

Американец вынул трубку и улыбнулся. С ним это случалось очень редко.

Мартен в дыму, точно поле битвы на старинных гравюрах. Это подогревают гравий. Бетонные работы подходят к концу. Прораб Макаров в полушубке и башлыке мерзнет на своем посту. Откуда-то появляется Брудный. Он приходит сюда не только по своим прямым обязанностям блюстителя темпов стройки, ибо несет общественную нагрузку, входя в созданную здесь планово-оперативную группу. Ее образовали шесть лучших ударников.

В цехе работают разные, непохожие друг на друга люди. Рядом с потомственными пролетариями встречаются мешковатые, крестьянские парни, жмущиеся поближе к своим бородатым землякам, таким же мешковатым и медлительным. Они недоверчиво, неприязненно поглядывают на окружающую обстановку, боязливо съеживаются, сталкиваясь с людьми. Кроме этих новичков много еще здесь строителей, застывших в своих привычках, в бытовой водочно-прогульной косности, смотрящих на труд, как на печальную необходимость,

как на источник, приносящий полушубки и валенки.

Нужно же добиться, чтобы все работали дружно, уверенно, не вслепую, не как механические исполнители чужой воли, знали свою сегодняшнюю порцию труда, знали трудовые задания всей бригады и всего цеха. Шесть ударников терпеливо вдалбливают это порой в очень невосприимчивые головы. Вокруг них группируются все те, кто болеют неудачами цеха, кому искренно дорог каждый завоеванный процент плана, чье классовое чувство предельно обострено.

Группа эта — нерв цеха, ударное его бродило, кнут, подстегивающий нерадивых, магнит, притягивающий всех энтузиастов. Через день они собирают совещания и выясняют там, кто, что, почему, когда, где помешал осуществить заданную на минувшие сутки норму работы.

Борьба этих двух начал в рабочей массе — социалистического, ударного, коллективного, устремленного к созданию новой, прекрасной, коммунистической жизни и личного, мелкого, карманного, сивушно-рваческого — на Кузнецкстрое особенно выпукла. Добровольно идет в сибирскую тайгу, в сугробы, в мороз, в глушь главным образом энтузиаст, герой невиданного до сих пор строительства, каменщик, закладывающий фундамент социализма. И пробирается сюда гаденький рвач, памятующий, что рабочие руки в пустынном этом краю котируются очень высоко.

Если коллекционировать факты кузнецкстроевской хроники, то на каждый десяток героических поступков проскользнет обязательно рваческий. 100 человек рабочих, стихийно организовавшись, устроили в шамотно-динасовом цехе воскресник, ликвидировав ударным напором лопат прорыв в земляных работах. В тот же день

в том же цехе черная доска заклеймила целую землекопную бригаду, получившую накануне спецодежду и больше не явившуюся.

Когда вожака этой бригады Соловцова, здоровенного мужичищу с сизым пьяным носом, упрекнули соседи по казарме, он ответил:

— Погуляю с недельку, а потом явлюсь...

— Попрут тебя к чортовой бабушке, мерзавца...

— Не попрут. А ежели здесь попрут — другой цех с удовольствием возьмет... Люди-то нужны...

И фактов того и другого сорта очень много. Я наблюдал как-то чрезвычайно любопытное происшествие. Из ворот ремонтно-строительного цеха вышел пожилой столяр в черном полушубке. В руках он нес широкую и довольно длинную доску, нес открыто, привычно и ловко держа ее за шершавый хребет — не один десяток лет уносит столяр строительный материал, считая это своим правом, своим законным приработком, своей добычей.

При выходе столяра остановил молодой парнишка, почти подросток, и строго потребовал, чтобы тот положил доску. Старик выругался и пошел дальше. Юноша кинулся за ним. Он схватил край доски и дернул к себе. Столяр, матерясь, стал вырывать ее. Паренек свалился в снег, барашковая его шапка слетела, но руки в красных мохнатых варежках попрежнему не выпускали дерева.

Вокруг них собралась толпа.

— Фулиган,— кричал возмущенный столяр,— а еще комсомолец. На людей кидается, средь белого дня грабительствует...

— Ты грабитель. Ты вор,— срывался ломающийся дискантик еще лежавшего юноши,— ты куда с построй-

ки добро народное тянешь? Лесу нет, мы на субботник ходили сгружать, а ты себе в хату тянешь, стерва...

— Я-то вор,— лицо старика посинело от бешенства, и увесистый его кулак рванулся к мальчишескому подбородку,— я-то грабитель? Я тридцать лет столярничаю, я Сталинградский тракторный обшивал, ах, ты, паскуда, рвань желторотая...

— Что ты на парнишку лезешь?! Что орешь?! А доску где взял, скажи,— вступился в спор кто-то из толпы.

— Что же это, товарищи,— взмолился столяр, апеллируя к окружающим,— всю жизнь беру досточки с постройки, никто слова не говорил, а тут вор, что это...

Дискуссия перешла в толпу. Она приняла бурный тон, ибо тема оказалась для многих волнующей. Не просто и не молниеносно происходят психологические сдвиги. Защитников нашли и столяр и юноша. Последнего больше обороняла молодежь. Поколение, возмужавшее в иных, чем их отцы, условиях, не волочащее за собой груза бытовых и производственных привычек, часто является застрельщиком новых трудовых отношений, примером пролетарского, сознательного подхода к строительству, к товарищам, к своей работе...

Я ехал в санях по площадке. Ямщик, кнутовищем ткнул в снежный пустырь, расположенный между мартеном и ремонтно-строительным корпусом, сказал, что здесь будет литейный цех. Ямщик был очень юн, и по его обветренному, розовому, еще не испорченному бритвой лицу скользила довольная улыбка, когда он добавил: цех наш, комсомольский, молодежный.

Через несколько дней на пустырь явились песни и смех. Лопаты ожесточенно грызли мерзлую землю. Снежная пустошь покрывалась глубокими квадратными ямами. Желтые горы вырастали у их границ. Смущен-

ный экскаватор стоял в стороне и ничем не мог помочь рабочим, так как не по его зубам этот черствый зимний сухарь. Ожидать же погоды некогда. За декабрь и январь нужно уложить четвертькилометровый фундамент.

— Это невозможно,— воскликнул я, получив от начальника цеха информацию о всей сложности, трудности таких работ в зимнее, морозное время.

— Это было бы невозможно,—сухо ответил тот,— если бы цех не был комсомольский.

Последняя комсомольская конференция взяла на себя строительство литейного цеха. Он должен быть готов к 1 сентября 1931 года и ни одними сутками позже. Он должен давать сорок две тысячи тонн фасонных отливок и ни одним кило меньше. Вот тогда комсомольцы могут сказать, что они сдали экзамен на аттестат трудовой зрелости.

Комсомольцы дали клятву с трибуны конференции и не забыли о ней, когда делегаты разошлись по баракам. Отныне все, что касается литейного цеха, касается кузнецкстроевской молодежи. Все безусое население площадки, включая даже тех, у кого еще по-детски ломаются голоса и на голых шеях наивно-задорно болтаются красные галстуки, чувствует себя ответственным за успешное строительство литейного.

Каждый член коммунистического союза молодежи три выходных дня проводит с лопатой в мерзлых ямах литейного цеха. В действительности комсомольцы проводят там гораздо больше, хотя официально удлинение срока не рекомендуется. Но молодость есть молодость. И вы ежедневно можете наблюдать, как какой-нибудь парнишка, немного робея, подходит к землекопам:

— Што, ребятки, слободная лопатка есть?..

В яме смеются.

— Есть, есть, давно тебя поджидает. Лезай.

Задорная юность вносит спортивные нотки в производственный свой энтузиазм.

Кстати о спортсменах. Их руководитель Бункус, человек в страшной волчьей папахе, серьезно обиделся, когда я хотел улизнуть от знакомства с физкультурными проблемами Кузнецкстроя. Он даже, правда безуспешно, пытался согнать улыбку со своего, никогда не меркнущего лица и собрать тучи бровей над смешливыми глазами.

Спортсмены?! Знаете ли вы, я то есть, что такое кузнецкстроевские спортсмены?! Знает ли московский журналист, что 160 убежденнейших физкультурников 29 ноября работали лучше всех на воскреснике в литейном цехе?! А кто ловчее и бойчее разгружает дрова?! А кто поголовно участвует в социалистическом соревновании?! Думаете, что мы мускулы нагоняем только для того, чтобы щеголять перед девицами?! Думаете, что физкультурники Кузнецкстроя просто пареньки, бегающие на коньках и кувыркающиеся на трапециях, а не наиболее производственно-энергичный и общественно-активный отряд?..

Я покаялся, и Бункус амнистировал меня дружеским похлопыванием по плечу.

Помощником начальника постройки литейного цеха Бидули работает юноша с кимовским значком. Добрую половину рабочих составляют граждане допризывного возраста. Эта иногда излишне-шумливая, неуемная, беспокойно-пытливая человеческая порода — прекрасный рабочий материал для социалистического, именно для социалистического строительства.

По крайней мере Бидуля долго и настойчиво твердил Брудному, держа его за пуговицу брезентового плаща:

— Обязательно дайте еще комсомольцев. Довести число их до 100—боевая задача. А без них...

Бидуля сделал выразительный жест у горла.

Даже внешне литейный цех отличается от своих коллег по площадке. Тут всегда шумно и много гостей. Только «гости» являются не поглазеть, а честно отдать свои, иногда детские, силенки родной стройке. Я видел, как явилась шумная ватага фабзайцев и добросовестно часа три долбила упорную землю, а, уходя, серьезно, старательно измеряла толщину снятого ею пласта.

И за пределами Кузнецкстроя комсомольцы чувствуют свою ответственность за строительство подшефного цеха. Молодежь станции Зима в неурочное время, ударным порядком, погрузила для стройки целый поезд с лесными материалами. На ст. Кузнецк этот дорогой, необходимый здесь груз встречала такая же ударная комсомольская братия.

Цех, как богатырь в сказке, растет не по дням, а по часам. Каждый день, приходя сюда, я почти не узнавал местности. Собственно, таким свойством отличается многое на Кузнецкстрое, живущем революционными темпами пятилетки. Помню, я вечером обратил внимание на барак, только-только поднимающийся из холмов сосновой стружки. Утром запыхавшиеся бабы уже волокли туда большие узлы, стекольщик торопливо замазывал последнее окно, из трубы шел густой черный дым и, упершись в морозную крышку, повисал над головой, как коршун.

Такой жирный дым валит почти из всех труб, будто в каждом доме спрятан паровоз и его щедро пичкают курным углем. Это идет борьба с самым грозным, упорным и трудно одолеваемым врагом строительства — воспетым и изруганным сибирским морозом!

Его забрасывают толстыми поленьями дров, засыпают целыми вагонетками углей, думая, что он задохнется в жестоком их жару, от него заслоняются высокими, языковатыми кострами, скрываются в тулупы, в медвежьи дохи, в пимы, в волчьи шкуры, в башлыки, в меховые шапки...

Все это помогает до поры до времени. Когда же трескучий негодяй сгонит термометровый столбик до 60 градусов, то делается тяжеленько. Дыхание, как подстреленная птица, валится на воротник. Пимы промерзают и стучат на льду, точно костыли. Водопровод отказывается служить — и у него не вымолишь ни единой капли влаги. Костры греют не больше, чем бенгальские огни. Земля делается неприступной, и с ней умеет обращаться только динамит.

Мороз часто уступает место бурану. Трудно, очень трудно сказать, кто из них лучше,— оба хуже. Злобный вихрь сваливается с холмов. Он выпускает на площадку сотни снежных волчков. Ветер воет в трубах, рычит, натыкаясь на тепляки, и найдя где-нибудь плохо пришитую доску, с остервенением ее отдирает. Ветер бросается на кирпичные корпуса и ожесточенный препятствием швыряет в них тяжелые охапки снега. Он тушит костры, рвет и путает, как котенок нитки, электрические провода, выдергивает, точно морковь на огороде, телеграфные столбы, опрокидывает леса и водружает над механизмами, над стройками высокие могильные холмы.

Так шумит и неистовствует этот проклятый зимний бандит. Но люди еще более упорны, чем природа, и ни на одну секунду не прекращают сопротивления бурану.

Порванные провода тут же соединяются. Ударные бригады связистов, забронированные в кожу и меха, лезут на столбы, вступая в яростный спор со снежным

вихрем. Телефон в конуре начальника доменного цеха замолк в 6 часов, а в 6.30 он уже работал, донося управляющему о мерах обуздания снежной стихии.

В тухнущие костры наваливают целые деревья и возмужавший огонь, шипя от злобы, пожирая снег, рвется ввысь. Горячее его дыхание приводит в себя коченеющих людей. Опрокинутые леса укрепляются надежнее, могильные холмы разгребает мощный напор лопат, водопровод прячут глубже в землю и кутают, как больное дитя.

А в крепких, ладно сшитых тепляках спокойно стучат молотки, как бы издеваясь над бессильно воющим бураном. Ехидный дым хорошо упрятанных печей плюет в искаженное тучами лицо природы.

В тот день, когда должны были выплавить во временной печи первый чугун, честный термометр показал 57 градусов ниже нуля. Инженеры переглянулись. Американцы явились закутанные в меха до макушек. Дежурные литейщики волновались, как дебютанты, первый выход которых пришелся в дождливый, ненастный день.

— Начинать,— шопотом распорядился начальник цеха, и его приказ, как телеграмма, моментально передался всем участникам этого торжественного трудового дебюта.

Выход открыт. Расплавленное золото хлынуло по приготовленным для него путям. У многих заболели глаза, сразу стало тепло.

Тепло и радостно.

Первая выплавка чугуна на Кузнецкстрое, происходившая при пятидесятисемиградусном морозе прошла блестяще.

горный тельбес

Издалека глухо доносятся последние звуки двадцатого века — басят гудки, зовя рабочих в утренние смены, визжит «фордик», как фокстеррьер, которому наступили на лапу, отбивают такт мощные двигатели. На нас надвигаются горы и тайга. Сначала показываются отдельные сосновые разведчики с голыми стволами, далеко ушедшие вперед от главных таежных сил, их сменяют жидкие кедровые и еловые разъезды, затем набегает густая хвойная цепь.

Плетеные, похожие на корзинку сани, именуемые на сибирском жаргоне «кошевой», запряжены цугом. Мохнатые, крепкие лошаденки привычно отмахивают километры. Ямщик, стоя на коленях, щелкает длиннейшим бичом и резко, по-разбойничьи свищет. Рытвины и ухабы бросаются под полозья. Я прячусь в овчинной берлоге. Вокруг — тишина и снег. Какой сейчас век? Какой год? Я еду в Тельбес. Часы проходят в тишине. Все спит. Иногда через дорогу переметнется заяц, оставляя на белой целине маленькие следы. Изредка покажется деревушка. Мы въезжаем в деревянные ее ворота, проезжаем мимо шорцких курных изб без труб и почти без крыш, с трахомными окошками, с торчащими из стен полусгнившими балками. Мы минуем гладкие, тесовые раскольничьи домики, спящие на высоко взбитых метелями снежных перинах.

Но вот деревушка нырнула в овраг, исчезли ворота, расстояние слизнуло последний дымок, и опять снег, опять тишина, опять только свист ямщика и тяжелое дыхание устающих лошадей. Однообразие.

115 километров отделяют Тельбес и Темир-Тау — скалистые гнезда магнитной руды — от площадки Кузнец-

кого строительства. Это небольшое сравнительно расстояние утомительней, недоступней, чем поездка из Москвы в Свердловск. Путь идет горами и тайгой. Весной ручьи срываются с вершин и обрывают дорогу, как паутину. Тогда из Тельбеса нельзя пробраться даже верхом. На два месяца он превращается в остров. Только отчаянные смельчаки рискуют пуститься в путь, преодолевая сопротивление обрушившихся со скал водопадов.

Летом частые ливни подстрекают к разливу взбалмошные горные речонки, и те пиратствуют на вашем пути. Осенью злая распутица месит глиняный кисель. Зима приходит как благодетельница и великодушно расстилает санный путь. Но и эта метельная старуха с норовом: неожиданно налетает буран, подымает снежный вихрь, гонит путника в первую попавшуюся избу, где тот рискует проторчать, проклиная все на свете, и день, и три дня, и целую неделю...

Дорога эта была и осталась самым злейшим врагом строящихся тельбесских рудников. По такому отчаянному чортову тракту приходится тащить и механизмы, и оборудование, и продовольствие. Горы берегут свои недра. Реки охраняют их от нашествия человека. Верные церберы выполняют свой долг. Каждый километр пути берется с бою. Не всегда человек выходит победителем. Часто одолевает природа. Я видел ее трофеи. Вот увязла в грязи широкая тракторная площадка, мороз еще более укрепил ее оковы, метель нанесла могильный холм. Попадаются еще какие-то машинообразные предметы, уворованные распутицей у строительства. А вот глядят из сугроба остановившиеся глаза околевшей лошади с жутко поднятыми вверх обглоданными ногами.

Дорога эта и весь окружающий ее таежно-почтовый пейзаж старой Сибири, Сибири прошлого и позапрошлого столетия, глухого, каторжного, беспутного края, доживает последние месяцы. Уже тянется к недрам Темир-Тау рельсовый путь. Он пройдет по крутым склонам кузнецкого Алтая, доберется до Мандыбаша, где находится обогатительная фабрика руды. Тельбес же соединится с Мандыбашем подвесной электрической дорогой. У села Яил заалел красный флаг на свежесрубленном бараке. Его окружали такие же новенькие домики. Тут помещаются столовая и контора новой стройки. После таежного покоя особенно приятна трудовая суета. Мороз не остановил работы. Лопаты безжалостно сдирают с земли снежный покров. В желтое и холодное ее тело впиваются острые кайла. В узкое, жесткое ложе укладываются шпалы. На деревянный их фундамент опрокидываются рельсы. Кузнецкий Алтай будет покорен и покорен в ближайшее же время.

Молодой техник в полярном одеянии, мигая белыми от инея ресницами, бежит по тропинке. Он отчаянно машет нам рукой. Мы покорно повинуемся. Сейчас будет взрыв. Чтобы пробиться в Темир-Тау строителям приходится сдвигать и ворочать горы в точном и буквальном смысле этого слова. Путешественник например несомненно с почтением взглянет на высокую скалу, имеющую форму стула и густо поросшую красивым кедровиком. Техник же, голубоглазый ярославский юноша, презрительно на нее поплевывает, ибо уже начинил сию природную дылду динамитом и думает сковырнуть ее, как прыщик.

Динамит безжалостно коверкает пейзажи. Меняется лицо Сибири. Бородатые раскольники, полпреды прошлого в современности, мрачно прислушиваются к ворвав-

шимся в их тихие края индустриальным шумам. Любители старых ландшафтов, любители ездить так, как ездил Пушкин,— торопитесь! Ваша романтика умирает. Через полгода до Темир-Тау будут давать плацкарты и по всему, теперь еще девственно снежному, пути ляжет серая пыль руды. Товарные составы повезут ее в доменные жерла Кузнецкого металлургического завода.

Но это будет. Пока же еще сани, ямщик, поющий песни каторги, одинокие деревни, отданные во власть бурана, и бесконечные просторы снежной дороги. Усталые лошади чаще спотыкаются, потеют и тотчас покрываются морозной сединой. Неожиданно наступают сумерки. Кедры зловеще мрачнеют. Мороз ожесточился и нагло забирается в мое овчинное убежище.

Ямщик, видимо тонкий психолог, считает своим долгом занять пригорюнившегося седока. Он, полуобернувшись, с увлечением рассказывает о том, что в логу, к которому мы приближаемся, бродяги на прошлой неделе пырнули ножом почтальона. Труп несчастного пролежал в сугробе несколько дней, пока сюда не забрела волчья стая. Волки сейчас очень голодны, свирепы и, если...

Я нахлобучиваю «финку», предпочитая не слушать, что будет «если»...

Вдруг мелькнул огонек — тот самый традиционный огонек, который неизменно мелькает во всех приключенческих романах, во всех писаниях туристов и путешественников. Но делать нечего — огонек все-таки мелькнул. Тотчас запахло дымом — это почувствовал ямщик, ибо мой нос давно потерял способность обонять, замерз, стал до того твердым, что им вероятно можно было забивать гвозди. Залаяли собаки, сани въехали во двор.

Дальше все совершалось по ритуалу пушкинских времен. В жарко натопленной станции чадила керосиновая лампа, треснувшее стекло было заклеено узкой полоской бумаги. Сонный смотритель, сморкаясь в красный фуляровый платок, дал мне расписаться в подорожной, пробормотал что-то о лошадях и полез обратно на печь.

В первой комнате располагались ямщики. Во второй уже сидели путешественники и, зевая, играли в карты. Краснощекая дочка смотрителя принесла пузатый медный самовар. Сытый кот спал у печки. Стена была заклеена рекламными плакатами, конфетными обертками и прочим пестрым барахлом.

Весь вечер говорили о бродягах и медведях. Толстый восторженный лесозаготовитель плел всякие небылицы о поручике Соломенном, много лет бандитствовавшем в кузнейцкой тайге. Ночью раздался резкий звон колокольчиков. Кто-то въезжал во двор. Смотритель чиркал спичкой и бормотал проклятия. Из сеней пахнуло холодом. Два человека в заснеженных пимах с трудом втащили кожаные мешки. Один из них скинул рыжий полушубок, вынул револьвер и, проверив барабан, сунул его под подушку...

Это была почта.

Какой сейчас век? Какой год?

Утром выехали дальше. Немного потеплело. Горы становились суровей, подъемы круче, спуски чуть не вертикальны. В ущельях на нас набрасывался отвратительный колючий ветер. Скоро наш путь пересек любопытный караван. Четыре гусеничных трактора, шумя, как десять водопадов, волокли разобранный локомобиль. Он предназначался для рудника Темир-Тау, где должен был стать источником и основой механизации. По широкому следу его шел целый отряд рабочих в ко-

ротких испачканных тулупчиках, в меховых шапках, в башлыках. Возглавлял их огромный, ширококостный механик, оглушительно распоряжавшийся.

Путешествие каравана продолжалось пятые сутки. Это был настоящий экзамен на выдержку, на выносливость. Тяжелый локомобиль поминутно проваливался, погружаясь в снег. Люди руками вырывали из мертвой хватки сугробов драгоценный груз. Стоя по пояс в снегу, иногда ложась, они принимали на плечи стальную ношу. Там, где беспомощным оказывался трактор, побеждала человеческая воля.

Всем было жарко. Несмотря на сорокаградусный мороз, механик снимал шапку и рукавицей отирал пот. Он прошел весь этот длинный и утомительный путь пешком, ни разу не присев на следовавшие сзади сани.

— Проклятая дорожка,— злобно ворчал мастер, адресуясь ко мне,— дьявольская дорожка, сволочная дорожка. Ну ладно, не долго еще ей бандитствовать...

Тельбес по-шорцки означает кулик, Темир-Тау — железная гора. Расположены они в административной черте горношорцкого района. Горные шорцы — скуластое монгольское племя, чьи воинственные чамбулы долго сопротивлялись Ермаку, а потом не один век трепали гарнизоны кузнецких крепостей. Их бурное прошлое давно забыто, в последних главах истории романовской империи будет записано, что шорцы, отданные во владение исправников и хищных скупщиков, обнищали, пристрастились к спирту и были обречены на вымирание, как большинство так называемых инородцев. Царская национальная политика этого и добивалась.

Первый горный шорец попался мне у самого Тельбеса. Он, как орел, слетел с вершины, едва касаясь лыжами прочно спресованной массы снега. Чуть кривые ноги

его были обуты в меховые пимы, из-под меховой шапки выглядывали раскосые черные глаза и смуглое лицо. За плечами лыжника болтался дробовик, на кожаном поясе свесил закоченевшие лапки пристреленный заяц.

Шорец довольно хорошо говорил по-русски. Он попросил папиросу и в благодарность показал свои лыжи. Лыжи горцы делают не очень длинными, подшивая их снизу звериной шкурой; когда вы идете вверх, то скользите по шерсти,— скатиться же назад мешает упирающийся волос.

Шорцы — охотники и пчеловоды. Раньше пушные спекулянты дико надували доверчивых горцев, выменивая у них драгоценные меха на спирт, на ничтожное количество дроби, пороха, съестных припасов. Теперь всю добычу забирает Госторг. Дела шорцев поправились. Крохотное племя и в хозяйственном, и в бытовом, и в культурном отношении постепенно становится на ноги.

Бьют шорцы главным образом мелкого пушного зверя, белку и зайца, а с медведем связываются только тогда, когда таежный лакомка делается завсегдатаем их ульев. Бывает же это нередко: шорцкий мед очень хорош, медведь отчаянный сладкоешка, а посему на заготовительный пункт теплую мишкину шубу доставляют довольно часто. Дорого платит господин Топтыгин за свою медовую страстишку.

Когда подъезжаешь к Тельбесу, кажется, что смотришь видовую фильму, скажем «Белый стадион», или просто разглядываешь пачку швейцарских открыток. Слишком уж тут привычная, намозолившая глаза горная живописность.

Внизу, как полагается, нервная ущельная речка, сейчас, правда, успокоенная морозом, по бокам громоздятся мохнатые хвойные горы, на них навалено несметное

количество снегов. Все, как принято. Даже присутствие рудника не нарушает обычного альпийского стиля — шахт и штолен не видно, высоких труб еще нет, а прилепившиеся к утесам домишки, имея вполне тирольский вид, могут сойти за жилища горцев-проводников.

В общем нужно сознаться, довольно красиво.

Правда, тельбесские горы изрядно поплешивели. Грустные лысины обнажают прежде густые макушки. В 1927 году здесь бушевал лесной пожар, этот частый гость сибирской тайги, безжалостно ее опустошающий. Много сотен гектаров лесу погорело. От прекрасных мачтовых сосен, от великолепных величественных кедров и прочего нужного нам строительного материала остались лишь жалкие окурки, годные на топливо.

Когда едешь, встречаешь целые рощи обугленных пеньков. Они придают отдельным местам тоскливый вид пепелища. Кое-кто жалеет испорченный пейзаж, большинство же скорбит об уроне, нанесенном лесозаготовкам. Последних успокаивает то, что около черных окурков уже подымается молодая хвойная поросль. Немного терпения — лес будет.

— Будет-то будет, но такой, как был, не скоро. Веками вырастал, чуть не под облака поднялся,— говорит тов. Абдулова, и жалобная нотка звучат в ее словах.

Тов. Абдулова смущена и нервно теребит оборванную бахрому широченной своей шали. Приехав из Темир-Тау в Тельбес на профсоюзную конференцию, она не думала привлечь к своей особе такое внимание. Рудник не имеет еще истории, чтобы устраивать вечера воспоминаний. Рановато еще. Поспеем. Работать надо, а не в прошлом рыться. Прошлое не уйдет.

Абдулова уже не смущается, а сердится. Вот прилипчивые люди, особенно этот вот, московский. Придется,

видимо, рассказывать,— все обитатели комнаты приезжих осаждают женщину. Они хотят знать, как жили здесь первые люди, пришедшие искать руду.

Теперь расчищены дороги, есть целый поселок, продают белый хлеб в продмаге, дежурит у конторы милиционер. Летом 1926 года были только тайга да две палатки, раскинутые на склоне горы. Ливни, казалось, задались целью смыть с утеса отважных геологических разведчиков, пришедших прощупать Тельбес, чтобы узнать, где таится магнитный железняк.

Травы шуршали от массы ползущих в них змей. Каждый шаг нужно было делать с опаской, чтобы не угодить на какую-нибудь ядовитую гадину. В сумерки было рискованно выходить из палатки, так как густые заросли малинника манили медведей. Просыпающиеся ночью люди слышали, как хрустят сучья под тяжелой ступней Топтыгина, как довольно урчит он, пожирая ягоды.

Хлеб привозили верховые из ближайшего горского улуса. Продовольствие было точно дозировано. Жили, как потерпевшие крушение, выброшенные на необитаемый остров. Целые дни деловито и упорно буравили скалы, долбили почву, сверлили горные породы и бурно, как дикари, ликовали, когда из глубины извлекали первые куски тяжелой магнитной руды.

В 1927 году разведка ушла, унося с собой геологические трофеи. Работа ее перешла в лаборатории и научные кабинеты. Беречь же железное богатство остались Абдулова и ее муж. Древесный шалаш приютил эту смелую чету.

Они были свидетелями, как пылала тайга, как летали, точно ракеты, раскаленные головешки, как бежали из своих берлог вспугнутые звери.

— Ад кромешный! Никакими словами не рассказать!

Пожар оказался невольным помощником строителям будущего рудника: он очистил таежную чащу, распутал непроходимые ее дебри, убрал валежник, лежавший здесь десятилетиями.

— А жили мы и думали, что больше никто не заглянет сюда. Решили, что или руда плоха или еще что ученые сказали. Жаль было. Трудов-то сколько положено. Трудов-то...

Возникновение Кузнецкстроя заставило вспомнить о Тельбесе и его богатствах. Иметь собственную рудную базу, хотя бы и не вполне обеспечивающую потребность завода, казалось весьма соблазнительным. Уральское сырье за две тысячи километров, мало ли какие перебои возможны сначала,— Тельбес же будет надежным подспорьем, верной сырьевой опорой социалистического гиганта.

Решили, что первые месяцы после пуска Кузнецкого завода, Тельбес и Темир-Тау будут удовлетворять 40 процентов всей рудной потребности завода. Теперь планы несколько изменились.

— Мы хотим,—сказал мне Бородин,—повести работы так, чтобы вначале может быть полностью питаться собственной рудой. Поэтому мы форсируем рудничное строительство и подгоняем, как умеем, железнодорожное. Уже уложено 40 километров пути, летом тридцать первого года дорога будет закончена.

Таким образом Тельбесу дана почетная роль. Туда двинулись люди и караваны. В тайге снова застучал топор. В 1930 году в дикой горной глуши, в убежище змей и медведей забилось горячее, рудничное сердце.

Сейчас уже в горах оживленный бревенчатый поселок, скачут верховые, идут бабы с коромыслами, ребя-

тишки, ныряя в сугробах, торопятся в школу. Школа помещается в правом крыле длинного здания конторы. Около нее толпится партия новоприбывших рабочих, высокий юноша в чуйке переписывает их; порядковый номер тельбесского строителя перемахнул за пятьсот.

Громче и уверенней с каждым днем бьется рудничный пульс. Уже скоро кончат проводку двух штолен, заложена вертикальная шахта, стучит у реки крохотная станция, ей вторит двигатель механического цеха, заглушаемый разноголосицей кузнечных молотов.

Тельбес строится.

гудок в тайге

Я спускался по тропинке к рудничной конторке, когда воздух был неожиданно потрясен резким гудком. Он сначала неуверенно захрипел, поперхнулся, но тотчас же поправился и огласил воздух густыми басистыми трелями. Это было торжественно, как подъем флага на плененном корабле.

И потом все, кто попался мне на пути: и толстая курьерша, тащившая большую краюху хлеба, и милиционер, стоящий около радиостанции, и компания пыльных усталых рабочих, и белокурый гигант-инженер Янис, и даже сам управляющий горным районом Сгибнев, сияя, точно именинники, спрашивали:

— Слыхали?! Каково?!

Их ликование вполне понятно: ведь гудок прозвучал в тех местах, где недавно слышались только урчание и рев медведя да тоскливое волчье завывание. Вы имеете право гордиться, товарищ Сгибнев, руководитель социалистического наступления на глухом тельбесском

участке, и вы, товарищ Янис, технический мозг рудника, и вы, рядовые горного строительства, от ударного пыла которых зависит успех магнитных разработок. Тайга укрощена вами.

Гудок подвел итог целому периоду жизни Тельбеса. В иное существование вступает рудник. Кончилось медвежье — приключенческая романтика,— начинается романтика производственных будней, строго регулируемая пронзительными гудками.

— Без гудка настоящего-то порядка не было,—пояснили довольные старые производственники. — Часы что? Часы у каждого по-своему идут: у одного без двадцати семь, у другого пять минут восьмого. Вот и разбери. А в рудничном деле точность прежде всего.

Трудовой оркестр получил хорошего дирижера.

Машина же, породившая гудок, давшая ему голос, стояла внизу, в ущелье, на берегу реки Тельбес и именовалась передвижным компрессором. Его притащили еще летом, поборов сопротивление стихии, одолев мучительные километры дороги и поселили, как средневекового полководца, в обширном брезентовом шатре. Стоит он там и по сей день на своем механическом посту, а в десяти от него шагах, чуть повыше, разинула широкую пасть центральная штольня.

Я и инженер Першаков, заведующий горными работами, карабкаемся наверх. Обледенелые ступеньки не принимают ног. Тирольские виды развертываются вдали. Но нам не до видов. Сейчас рабочие, обдирая ледяную кожу горы, доберутся до цели и обнажат серый скелет магнитного железняка.

Тельбесский железняк залегает на самой поверхности. Он только чуть прикрыт нежирным слоем пород. Добывать его придется так называемым открытым способом,

т. е. работы будут вестись прямо на горе, а добытая руда через бункеры проваливаться в штольни. Сейчас идет проходка двух штолен. Но как идет!

Нужно обладать недюжинным упорством и настойчивостью, ясно сознавать все значение подземной этой победы, чтобы рудничными бурами, немного более солидными, чем столовые штопоры, сверлить стойкие стены пород. Постороннему человеку кажется, что такой труд не более производителен, чем рытье ногтями глубоких рвов. И если все же люди продолбили в руде целые штреки, пробились к самому сердцу горы, то разгадку этих успехов нужно искать в волевой энергии шахтеров.

Малую штольню проходят сразу с двух сторон. Где-то в глубине горы, в черной ее сердцевине должны встретиться и обменяться рукопожатиями, идущие навстречу рабочие отряды. За их продвижением, затаив дыхание, следит весь рудник. Кто раньше доберется до центра? Кто с честью выйдет из соревнования? Кто придет первым?

Я стою в забое. Робко мигает карбидовая лампочка, прикрепленная к козырьку фуражки десятника. Несуразные тени отбрасывает она на стены. Люди стараются казаться спокойными, говорить о мелочах, шутить, посмеиваться, но я слышу, как матерщинит бурильщик, у которого плохо закалено сверло, как злобно чернит кузнецов бригадир смены.

Каждый день сближаются оба шахтерских отряда. Их отделяет сейчас не больше, чем десять метров. Уже хмурятся десятники, прислушиваясь к глухим звукам, идущим из горной утробы.

— Ребята, — просит он, — апосля закурите. Ей-ей, заткнут они нас...

Но и без его просьб никто не курит. Сосредоточенное молчание царит в забое. Буравы, как разозленные осы, впиваются в породу. Они сверлят лазейки для динамитного шнура. В узкие щели забивают бурки. Сейчас вздрогнет гора...

Центральную же штольню проходили частично механическим бурением. Компрессор подавал в штрек сжатый воздух. Он спускал на стену стаю стальных волчков. Тут уже совсем другая картина и другие результаты. С отчаянным скережетом и гулом, подымая мельчайшую рудную пыль, механические сверла, направляемые опытной рукой бурильщика, сверлили динамитные норки. Ту работу, на которую человек, вооруженный ручным буравом, затрачивает много часов упорного труда, машина делает в пять-десять минут.

Но вот уже две недели, как компрессор замер. Нет бензина! Тельбесская радиостанция бросала в эфир тревожные сигналы. Они были услышаны на кузнецкой площадке. Оттуда выслали два бака с горючим. Поздно вечером где-то у дороги завыли волки, лошади захрипели, понесли и сбросили в ущелье свою драгоценную ношу. Тогда, чтобы скорее доставить бензин, его отправили на грузовике. Ночью помощник шофера, усталый и злой, приплелся обратно с вестью, что грузовик буксует в снегах...

Компрессор стоял в шатре, и ни один его остывший мускул не шевелился. Рабочие заглядывали в замороженное окошко, укоризненно качали головами, пускали матюка по адресу кузнецкой площадки, грузовика, волков. Наконец привезли бензин. Ура!

Я долго наблюдал, как возились около бездыханного компрессорного тела машинист и его помощник. Они сбросили полушубки, и, оставшись в одних легких, за-

масленных куртках, казалось, не замечали холода. Сердитая брань срывалась с губ. Уже много раз синий дымок рвался наружу, мотор вздрагивал, как будто начинал работать, и через несколько минут замирал. Нервничала компрессорная прислуга, не понимая, почему капризничает машина, нервничали шахтеры, которые уже начертили мишени для бурения и были готовы броситься на них со своим механическим оружием.

Из штольни пришла делегация узнать, почему стоит компрессор. Следом явился хмурый и недовольный Першаков. А вот, нагибаясь, чтобы не удариться головой о навес, шагнул в шатер и сам технический руководитель рудника инженер Янис.

Машинист, кидая на всех нас свирепые взгляды, ползал вокруг компрессора. Смущенный помощник покорно выслушивал желчные его попреки и еще усерднее рылся в моторе. Начальство с постными лицами, стояло вокруг, точно родственники у постели тяжело больного. Они взволнованно ждали, пока поставят диагноз. Если машина выйдет из строя, конец всем планам и надеждам. Благополучное окончание штольни уплывет в будущее. План можно будет швырнуть в корзинку. Руками много не разроешь.

Першаков первый не выдерживает и, скинув перчатки, лезет под компрессор, в масло, в снег, в бензин. Янис тоже снимает рукавицы.

— Есть, — облегченно говорит машинист, подымаясь, — я-то дурак всего его прощупал, а дело просто в свече... Последняя свеча к чортовой бабушке прогорела...

— Ставьте новую, — вырывается у меня.

Я уже жалею, что нарушил свое упорное молчание. Машинист оборачивается. Если бы взгляды могли испе-

пелять, я бы уже лежал в шатре холмиком тоскливого пепла.

— А где ее возьмешь новую? Разве вы ее привезли, может быть? Чисто у нас. Может, в Темир-Тау послать? Там, кажись, было...

Дело шло к вечеру. На конном дворе срочно седлают лошадь. Гонец, получив точные инструкции, лихо взлетает на седло. Жеребец пугливо фыркает, уходя в темноту. Исчезают огни Тельбеса. Всадник отдан во власть горных тропинок и ущельной мглы. 15 километров головокружительной скачки. Медлить нельзя. Весь рудник понукает коня.

Темир-Тау покрыт густым сосняком с запутавшимися в нем электрическими светляками. У конторы, отбросив заиндевевшую уздечку, гонец сваливается на крыльцо. В мягком голенище катанки спрятан приказ. Пока люди роются в кладовой, уставший, озябший курьер обнимается с железной печуркой, пьет крупными глотками шестую кружку чая. Но вот свеча разыскана, жеребец нетерпеливо бьет копытами снег и вздрагивает от холода. Пора в обратный путь...

Компрессор заработал. Рванулись на стену стальные волчки. Машинист улыбнулся, отер пот и виновато посмотрел на меня:

— Хотите закурить?

— Закурить? — ворчал сердито Янис, подымаясь вместе со мной к конторе. — Полчаса возился и не мог разобрать в чем дело. Работники! Сколько времени пропало! Сколько времени ухнуло!

Темень. Высокие сосны. Сугробы. Длинная тень Яниса. Скрип снега. Светлые окна конторы. Пропахший махоркой коридор и сонный милиционер, борющийся с дремотой, полулежа на низенькой скамеечке.

Сгибнев сидит в своем кабинете, верней в клетушке, которую здесь важно именуют кабинетом. Эта деревянная конура узка, как гроб, стены ее не достигают потолка, и шершавые их доски плохо выутюжены рубанком. Сгибнев криворожский горняк, украинец, житель мягкой полуденной страны. Сюда он послан решением большевистского Цека, чтобы вырвать у тайги руду как можно скорее и как можно больше.

Перед ним карта. В желтых разводах кузнецкого Алтау две чернильных отметины—Тельбес и Темир-Тау.

Тельбес таит в своих недрах 1 100 тысяч тонн магнитного железняка, а Темир-Тау — 14 млн. тонн. Когда Сгибнев приехал сюда, он застал готовый план разработок, по которому предполагалось давать 600 тысяч тонн железняка в год. Это было в достаточной степени бессмысленно. Кузнецкому заводу уже осенью нужна руда и в очень большом количестве. Его потребность нужно удовлетворить во что бы то ни стало. Кроме того, если затянуть опустошение тельбесской горной мошны, то придется на этом руднике возводить такие же капитальные сооружения, как в Темир-Тау. Сие определенно накладно. Одно дело вкладывать средства в район, обладающий четырнадцатимиллионным рудным запасом, другое — в район, все богатство которого исчисляется полутора миллионнами тонн.

Американский инженер Макдональд, консультировавший в Москве вопрос о руде Тельбеса и Темир-Тау, заявил, что при ином, более современном методе разработок, добычу можно сильно поднять. Здесь отнеслись к этому скептически. Дескать, хвастает иностранец.

Чего его слушать? Мы сами с усами. Тоже, небось, дипломы в портфелях имеются.

Сгибневу была чужда мелкая борьба самолюбий. Он настоял, чтобы американца пригласили сюда, дали бы ему возможность, ознакомившись с рудниками, сделать свои технические предложения. Макдональд приехал. Он очень внимательно исследовал пласты, ход горных работ и предложил свою, отличную от существующей систему разработок. Ее приняли. По новому плану оба рудника должны давать миллион, а то и миллион сто тысяч тонн руды в год.

Таким образом Кузнецкий металлургический завод к своему пуску сырьем будет обеспечен.

Мы беседуем, кутаясь в овчины, дверь же поминутно открывается, и очередной деловой ворчун тормошит Сгибнева. Бесконечные жалобы льются в толстый блокнот управляющего районом. Его карандаш всегда наготове, как часовой. Все узкие места Тельбеса открываются мне, все прорехи отчетливо выступают.

Приходит в индейских макасинах заведующий транспортным отделом, похожий на персонаж из романа Кервуда. Он плачется, что лошади загнаны до чортиков, что ямщики бегут, ибо их переманивают на кузнецкую площадку, что ему нужно по крайней мере еще 350 здоровенных, выносливых коней. Приходят рабочие, принося на пимах высокие слои снега, и рассказывают, что в бараках теснота, что дымят печи, что в столовке, в супе обнаружили две крупинки пшена и мясное волокно и о таком редком, замечательном событии обрадованные посетители решили довести до сведения самого управляющего.

Забегает Янис, целый день отмеривающий сугробы своим семимильным шагом, и на ходу сообщает о том, что нужны квалифицированные слесаря, что присланный динамит можно смело класть в горящую печь, не

опасаясь взрыва, что необходимо позаботиться о бензине, что... Потом начинает ругаться провод из Темир-Тау. Дайте людей! На горных работах нет даже конторщика, и инженер сам возится со всеми табелями. Дайте насосы! В вертикальной шахте появляется вода, шапками прикажете ее черпать что ли? Дайте вагонетки! Какого лешего вывезешь в этих гнилых, деревянных кадушках на колесах? Дайте локомобиль! Когда будет локомобиль? Почему нет локомобиля! Дайте людей! Людей дайте!

Плохо обстоят дела с рабочими руками в тайге. Особенно, когда нужны руки, которые кроме лопаты и заступа умеют еще держать перо, ручку мотора, циркуль, рубанок, слесарные тиски. Суровая обстановка горных рудников отпугивает многих. Они предпочитают застрять на кузнецкой площадке, где оживленней, веселей, сытней, спокойней, уютней.

Правда, с каждым месяцем смягчаются бытовые условия Тельбеса. То время, когда все жили в палатках, рисковали, идя вечером на работу, столкнуться с медведем или найти у себя под подушкой свернувшуюся в кольцо змею, — это время давно прошло, стало историей, факты которой берегут тельбесские старожилы. в роде Абдуловой.

Если еще недавно газет не было совсем, письма попадали сюда раз в два месяца, доставляемые случайно заезжавшими почтальонами, то теперь каждое утро под окном звякают почтовые колокольчики. Пейзаж оживляется строениями. Наверху уже вырос целый поселок, где живут служащие, строительные рабочие и технический персонал; внизу, у реки Тельбес, есть также с десяток бараков, населенных шахтерами. В солидном универмаге, с достоинством носящем свою местны-

ми живописцами сработанную вывеску, вы можете достать и консервы, и масло, и сласти, и галантерею, и хозяйственные предметы.

Многое, правда, еще в будущем. В будущем клуб, мечту о котором лелеют шахткомщики и все юное население рудника, придумывающее невероятно дерзкие планы его осуществления. В будущем например баня. Крохотная банька, поставленная еще геологическими разведчиками, была рассчитана на весьма узкий круг клиентуры и вмещает не более трех человек. Заведение это является объектом упорной борьбы между мужчинами и женщинами. Представители каждого пола пытаются утречком захватить баню в свое распоряжение. Не помогает даже установленный порядок. Трагикомические эпизоды сопровождают войну.

Я видел, как на рассвете женщины вытуряли прямо в снег голых парнишек, забравшихся в баню еще ночью и грубо нарушивших этим поступком самим Сгибневым установленное расписание.

Завхоз Акимов, жизнерадостный, милейший человек, выдвинутый на сей ответственный пост недели две назад, мечтательно, как о чем-то несбыточном, говорил:

— Эх, поехать бы на площадку...

— Зачем? — полюбопытствовал я.

— Постричься да побриться...

В Тельбесе нет парикмахера. Его функции в минуты законного отдыха выполняет один столяр, более привычный к рубанку, чем к инструментам цирульника, и обращается с человеческой физиономией он с той же бесцеремонностью, как с доской. Люди воют и... бреются.

Но тот же Акимов, когда ему предложили перейти на работу в Кузнецк, решительно отказался. Он знает,

что кто-то должен быть пионером, что без труда и лишений победа не дается, что на чьи-то плечи должна лечь тяжесть первых завоеваний. И веселый Акимов охотно, с улыбкой подставляет свои крепкие, надежные комсомольские плечи.

И строгий коммунар Сгибнев, и инженер Янис, и скромный служака Баташев и все 500 рабочих тельбесского рудника знают, помнят, что они в тайге затем, чтобы дать руду Кузнецкому металлургическому заводу, чтобы дать металл социалистическим стройкам, чтобы повысить темпы нашего наступления, чтобы укрепить отчизну трудящихся мира, чтобы...

Короче говоря, когда выйдет на поля колхозный трактор, когда привинтят рельсы где-нибудь в казакских степях, когда сползет с верфи советский теплоход, — в каждом из них, да, в каждом из них будет частица труда тельбесских героев.

И идет длинноногий Янис по сугробам, и мчится заметаемый бураном Сгибнев на площадку отвоевывать оборудование, и рвутся в недрах навстречу друг другу рабочие отряды, и скачет в Темир-Тау гонец за компрессорной свечой, и ползает машинист под заснувшим мотором, ибо дело строительства социализма, строительства новой, светлой, прекрасной жизни — их кровное дело.

прокопьевск — столица угля

Тяжелые ворота штольни медленно смыкаются, поглощая последний квадрат солнечного света. Широкая подземная улица ложится к ногам. Электрические блики фонарей падают в угольные лужицы. Две рельсовых

колеи и два узеньких, расшатанных дощатых тротуара. Инженер Кортелев идет впереди, как прожектор освещая путь, — карбидовая лампочка, точно хищная птица, вцепилась в кожаный козырек его ватного картуза.

В горбатых сопках Прокопьевска таится несметный угольный клад. В поисках его человек упорно точил горы и проложил себе путь к самому его нутру. Центральная штольня тянется несколько километров. Главный ее штрек оживлен, точно столичный проспект. Флегматичные битюги, громыхая, как московские трамваи, катят высокие вагонетки. Их бичом подбадривают коногоны, чьи лица под угольным гримом мрачны, как маски мелодраматических злодеев.

Грузный шаг шахтерской смены гулко отдается в подземелье.

Инженер Кортелев, молодой еще работник, член партии, недавно окончил томский институт и, сторонясь чертежной сухотки проектных бюро, пошел штейгером в шахту. У него худое, подвижное лицо, умные глаза и легкая, как у горной козули, походка. Ежедневно совершает штейгер многочасовой обход своего подземного хозяйства. Все сложные галлерейные пути, темный лабиринт штреков, тяжкий подъем бесконечных лесенок, путанное расположение зон ему привычны, как собственная квартира. Мы, навьюченные грузной шахтерской амуницией, неуклюже запакованные в пропыленный брезент спецовки, закованные в пудовые колодки, деликатно именуемые буцами, едва поспеваем за прыгающим инженером.

Главный штрек кажется бесконечным. Фонари горят тусклей. Чаще попадаются угольные лужицы. Чем глубже в гору, тем решительней климат приближается к тропическому. Становится жарко. Я снимаю свою теп-

лую шапку. Знойный воздух спирает дыхание. Даже не верится, что где-то, совсем близко, за тяжелыми воротами штольни, под сибирским ослепительным солнцем хрустит пятидесятиградусный мороз.

Кортелев упоенно и длинно рассказывает о Прокопьевске. Он говорит быстро, торопясь, будто боится, что слушатель ускользнет, сыплет техническими терминами, мелкими деловыми подробностями. В общем экскурсия осталась бы недовольна его пояснениями. С точки зрения логического развертывания рудничной панорамы рассказ молодого инженера страдает многими дефектами. Но как бы ни говорить о Прокопьевске, эта величавая тема заставит слушателя внимать, волноваться, восхищаться.

Обычно, когда поезд подъезжает к станции Усяты, толпящиеся у окон пассажиры обращают внимание на странный горбатый горизонт. Кажется, что за ниточкой, соединяющей небо с землей, прячется табун двухгорбых верблюдов. Эти-то голые и непривлекшие бы внимания пейзажиста скучные сопки, лысые степные холмы, дальняя родня хребта кузнецкого Алтая, хранят в своих недрах угольные запасы, превышающие запасы всего Донецкого бассейна.

Вслушайтесь в эти слова, поймите все исключительное значение их. На одном руднике углей больше, чем во всем нашем славном богатом Донбассе, еще так недавно бывшем угольным чемпионом СССР. После сказанного нет необходимости приводить точных цифр, тем более, что горные недра Прокопьевска, слабо еще изученные геологами, как необитаемые острова, таят в себе много ошеломительных возможностей.

На этом не кончаются блестящие данные Прокопьевска. Угли его, как вообще все угли Кузбасса, залегают

очень неглубоко. Тут главным образом штольни, реже встречаются наклонные шахты и уже совсем мало вертикальных. Жутких, как в Донбассе, километровых полетов в клети здесь нет. Нет и другого кошмара рудокопов — злобного, разъедающего легкие, бешено взрывающегося от самого незначительного соприкосновения с огнем газа. Постоянная угроза взрыва и отравления не висит над забоями. Спички в руках шахтера, отправляющегося на работу, не повергают в панику дежурного штейгера. Новичков нет необходимости запугивать ужасами гремучего газа. Козырек Кортелева дразнит белым обнаженным языком карбидки. В самых отдаленных забоях шахтеры спокойно сосут махорочные окурки.

С главного штрека мы свернули в другой, тоже один из центральных—примерно как бы с Тверской на Большую Дмитровку. Он немного уже, стены менее отполированы, реже встречаются фонари.

Резкий свист коногона. Очередной длиннохвостый подземный битюг, мотая головой, тянет мимо нас свой трехвагонетный состав. Обломки угольных утесов остро торчат вверх. Кортелев останавливается, и горделивая улыбка появляется на его уже почерневших губах. Большая ладонь загребает мелкие угольные блестки и подносит к самому моему носу.

— Уголь с пласта «Мощного»,—торжественно произносит инженер,—идет в домны без коксования.

— Да, мне уже говорил спутник по вагону об этом исключительном пласте.

— Вообще у нас коксуются все угли. На нашем руднике есть все сорта угля, во всяком случае почти все сорта, известные технике. Толщина пласта доходит до 30 метров, 14-15 метров — самое обыкновенное дело.

Вы, когда попадете в зоны, увидите это собственными глазами. До тех пор вы, возможно, не поверите мне — слишком уж все это дерзко. 30 метров, 14-15 метров: сравните колоссальные подземные громады Прокопьевска с полутораметровыми пластиками Донбасса.

Это не похвальба патриота, а геологически точные факты. Горные богатства Прокопьевска, этого чудо-рудника, этой «черной жемчужины», как его эстетски напыщенно и неудачно называют в Сибири, сказочны. Скажу только, что по пятилетнему плану намечено выскрести из прокопьевских сопок 17,5 млн. тонн угля и сие составит лишь 1,3 процента его разведанных, официально признанных запасов.

А сколько еще тут неисследованного!

Но одно дело иметь уголь в недрах, а другое революционными темпами, в нужном количестве доставить его наверх, чтобы удовлетворить топливные потребности бурно растущей социалистической индустрии.

В первый год пятилетки рудник дал 589 тысяч тонн угля, в пятый год он обязан дать 8 400 тысяч тонн, увеличив таким образом добычу в 14 раз. А вот для таких побед Прокопьевск вооружен плохо, безобразно, вооружен такими древними орудиями, как мотыка.

Достаточно сказать, что вся добыча доставляется наверх лошадью, которую погоняют бич коногона и резкий, оглушительный его свист.

Вот вам и рудничная механизация!

— Эх,— мечтательно и завистливо говорит Кортелев, глядя, как лупит заупрямившегося битюга коногон, — если бы сюда электрическую тягу, чтобы забегали по штольне электрические вагонетки, — завалили бы весь СССР углем. Все новые железные дороги в пот вогнали бы.

Внезапно перед нами вырастает молодой шахтер с лихими угольными усами. Юноша увлекает штейгера в сторону. Там ждут его несколько молодых парней, глаза которых сверкают негодованием.

— Шо же это, Кортелев, вредители у вас тут засели,— встречает инженера звонкий залп голосов, — мы в райкоме дело подымем...

Молодые эти ребята оказались представителями ударной комсомольской бригады. Их зона щедрей всего отпускала добычу. Производственная энергия, помноженная на юношеский пыл, дала блестящие результаты. Высокие угольные холмы дежурили у бункера. Но напрасно они дежурили — уже трое суток лопаты не беспокоили их, так как подземный транспорт не справлялся с добычей, хотя коногоны отчаянно хлопали бичами и столь же отчаянно свистели.

Четвероногий хвостатый и гривастый «механизм» демонстрировал свою непригодность в реконструктивный период.

Кортелев все это объяснил притихшим ребятам.

— Что же, — внезапно потухшим голосом сказал юноша с угольными усами, совершенно по-детски, плаксиво выпячивая нижнюю губу, — что же за ерунда, товарищи? Работам, работам, а толку нет...

«Толк» был печальный. Заведующий центральной штольней Романовский угрюмо подводил бесславный итог, управляющий всем Прокопьевским районом Шевченко хмурился, читая позорную сводку — выдано в сутки вместо 4 463 тонн 2 730.

А все лошадь!

В тупике, где обрывается штрек и зияет черная рваная угольная рана, мы натыкаемся на странный механизм, упершийся стальной мордой в забойный завал.

Длинное и несуразное его тело, похожее на гигантскую пыльную ящерицу, распростерто на земле. Тупой и тяжелый нос густо закопчен. Носит сие индустриальное чудовище американскую кличку «Шорт-Воллоудер», которую местные рабочие несколько оригинально перевели на русский язык — «чорт-лодырь».

«Шорт-Воллоудер» — это импортный гость, новейшей и комбинированной системы машина, которая, врубив уголь, сама же посредством конвейерной ленты погружает его в вагонетки. Универсальный сей электрический работяга блестяще опустошает горные недра. Таких механизмов в Прокопьевске три. С их квалифицированной помощью можно было бы здорово поднять кверху кривую рудничной добычи. Полуторатонную вагонетку «чорт-лодырь» без особого напряжения наполняет в одну минуту.

Такие лестные рекомендации выдал «американцу» инженер Кортелев. Мы заинтересовались. Я подошел поближе, чтобы посмотреть на молодцеватую работу стального ихтиозавра.

«Шорт-Воллоудер» медленно оживал. Его долго и неискусно заводили видимо малоопытные машинисты, которые были твердо уверены, что мат достаточно сильное средство для воздействия на сложный механизм.

— Вот она проблема технических кадров! — сказал Кортелев.

Несколько раз срывался строгий пульс мотора. Наконец задрожал угольный холм, мелкие камешки скатились с его вершины, стальные лапы механизма забрались в глубь завала, рванулась конвейерная лента и с грохотом обрушила в вагонетку угольную лавину. Пыль запорошила мне глаза.

Я оглянулся и был поражен той картиной, которую представлял собой процесс откатки уже нагруженных вагончиков. Более вопиющий контраст трудно было бы придумать. Разве только если запрячь в курьерский локомотив волов.

К ревущему угольному водопаду, в минутный интервал заполняющему полуторатонное железное чрево, рабочие руками подтаскивали вагонетку. Они стягивали ее с рельсов, волокли по металлическому настилу, как упирающегося козла. Вагонетка цеплялась колесами, скользила, будто сопротивлялась. Громоздкий этот процесс казался каким-то техническим шаржем, злой, подхлестывающей карикатурой.

И вот, когда бег конвейерной ленты шел к победоносному концу и тучами валила чернейшая пыль, внезапно раздался истошный крик откатчика:

— Семен Федрыч... Обожди... Обожди...

Замасленная ладонь машиниста ложится на рычаг, и переведенная на холостой ход конвейерная лента бессильно скользит по углю. Загребущие и сильные локти «Шорт-Воллоудера» замирают, как перебитые. Грохот смолкает. В наступившей тишине слышно, как два мешковатых, грузных, точно мучные кули, парня, тяжело сопя, матерясь и отдавливая друг другу ноги, оттаскивают полную до краев вагонетку.

Потом, отерев чернильный пот, сбегающий по щекам, они хватают порожнюю и с страшным грохотом волокут ее к устью механизма.

— Семен Федрыч... Слышь... Пущай...

Кортелев сердито сплевывает.

Опять строго стучит мотор. Опять дрожит высокий холм и обрушивает конвейерная лента угольные лавины. Завал быстро опустошается. Несколько минут «чорт-

лодырь» работает нормально. Потом снова истошный голос взывает к «Семен Федрычу», и, внимая воплю откатчика, машинист хватается за рычаг.

Теперь оказалось, что нет порожняка. Хмурый антракт. Кто-то бежит навстречу коногону. Тихо ругается штейгер, и бурно изрыгает хулу бригадир, маленький седой старичок с глиняной, закопченной трубкой в зубах.

Суть всех этих производственных перебоев заключается в том, что механизируется не весь процесс добычи и выдачи угля, а отдельные операции. Если рудник получает чрезвычайно ценную машину, то, чтобы она работала не на холостом ходу, необходимо поднять технический уровень всех связанных с ее деятельностью трудовых манипуляций. Лучше полностью механизировать один участок, чем все участки понемногу.

Третий же перерыв в работе «Шорт-Воллоудера» произошел молниеносно и без всяких предупредительных сигналов. Исчез ток. Погасла стеклянная груша над нашей головой. Смолк компрессор.

Энергетическое хозяйство Прокопьевска в полном расстройстве. Существующая дырявая коробка, именуемая электростанцией, не имеет ни резерва котлов, ни резерва машин, ни водоочистителя. Рудничный поселок, произведенный недавно в город, все время сидит без света— энергии хватает только для того, чтобы чуть позолотить нити электрических ламп. Всякая культурная работа с наступлением темноты невозможна. А темнота зимой тут наступает в третьем часу.

Вечерами мы лежали на кроватях, лишенные возможности читать и работать, и с досадой смотрели, как тлеют под стеклом волоски, которые не могли осветить даже собственного колпака.

Старые котлы «Бабок и Вилькинс», астматические, задыхающиеся источниками местной электроэнергии, больше чистятся и ремонтируются, чем работают. Если же одновременно замирает и ветхая «шведка», энергетический инвалид в 500 киловатт, все механизмы прокопьевских штолен прекращают действовать.

Хорошо, что имеется еще стокиловаттный агрегат, ветеран, некогда служивший в Малом театре, изгнанный оттуда за древностью и приютившийся на сибирском руднике. Его воробьиных силенок хватает хотя бы для того, чтобы осветить главные штреки штолен, предотвратить возможное затопление шахт.

К 1 апреля 1931 года в Прокопьевске должны быть установлены 6 локомобилей Вольфа с генераторами, мощностью в три тысячи киловатт. Один из них прибудет из Германии уже в феврале. Пока же рудник побирается—то тот, то другой добросердечный сосед уступит какой-нибудь вконец износившийся агрегат.

— Чорт подери, — говорит Кортелев, и карбидовая лампочка на его козырьке нервно дергает острым язычком, — что мы — какая-то кустарная шахтенка, бедный родственник мощной промышленности или богатейший в СССР, а может быть и во всем мире, рудник? Вы думаете, что нам хватит даже всех шести импортных локомобилей? Нет. Пока их установят, наш энергетический аппетит возрастет.

Мучиться Прокопьевску недолго. Скоро вступит в строй Кемеровская теплоэлектроцентраль, могучий силовой источник, энергетический водопад, почти равный Днепрострою.

Ток дали. В штрек вернулся машинный гул. Заблистали фонари. Пробежал мимо «четвероногий механизм». Мы лезем в «печь». Печь — это подъем по верти-

кали: в одной половине — узенькие, растерявшие многие ступеньки лесенки, в другой—обложенный плахами спуск для лесоматериалов.

Вот добрались до второго этажа, потом до третьего, четвертого, пятого и продолжаем карабкаться до тех пор, пока через круглую дыру в отработанной зоне не увидим клочок синего неба. Значит, добрались до вершины.

В верхних штреках электричества нет. У меня в петлице шахтерка. Козырек Кортелева, к которому он прикрепил еще одну карбидку, смахивает на старинный канделябр. Свет рассыпается на стенах фиолетовым блеском. Уголь чист, как бриллиант, — ни одна чуждая минеральная жилка не пробегает по лоснящемуся его телу, ни одного пятна породы не видно в черном массиве.

— Можете смотреть в лупу, — смеется Кортелев.

Мы идем все время не сгибаясь, будто фланируем по московским бульварам, а не бродим в отдаленнейших галлереях центральной штольни. Прокопьевск не знает донбассовских нор, кротовьих его лазеек, забоев, в которых нужно работать лежа.

— В Донбассе уголь добывают как картошку — роются в земле и разыскивают кусками. А у нас самородок!

В многометровых пластах угольной столицы, достигающих высоты трехэтажного дома, можно было бы свободно сооружать подземные залы, высекая из угля стройные, гордые колонны.

В широкую воронку, образовавшуюся после провала отработанной зоны, мы вылезаем к самой вершине сопки. Сразу наседает мороз. Рудник лежит внизу, меланхолично попыхивая сизыми дымками, низко стелющимися над землей.

Деревянные шеренги бараков держатся от него на почтительном расстоянии. По склонам холмов лепятся, как ласточкины гнезда, глиняные домишки, землянки, засыпанные снегом, криво улыбающиеся единственным своим рыбьим глазом, древесные шалаши, покрытые жирным мхом — это строительные произведения частной инициативы, так сказать местные особняки. Носят они звучные и весьма экзотические названия — Марс, Юпитер, Сахалин, Порт-Артур.

Все это строительные мотыльки — жить им один сезон.

Расположены они на угле. Весь Прокопьевск стоит на угле. Для постройки социалистического города пришлось отвести территорию, находящуюся чуть ли не в десяти километрах от нынешнего поселка в сторону Тырганских гор — это было единственное и самое близкое место, свободное от угля. Все прочее только толстый слой наносной породы, под которой на очень небольшой глубине таятся угольные богатства, несметные богатства Прокопьевска.

Мороз гонит нас обратно в штольню. Начинается утомительный, бесконечный спуск. Лестницы, лестницы, берешься считать ступеньки, доходишь до пятисот — сбиваешься.

Сверху на голову осыпается мелкий уголь.

Глухой взрыв. Затем с другой стороны — еще один. Гора вздрагивает. «Марсы» и «Сахалины» трясутся, как ослабевшая пуговица, вот-вот готовая сорваться с последней, поддерживающей ее нитки.

Это запалили в дальних забоях. Человек рвет угольную груду недр, чтобы дать стране прекрасное, не имеющее себе равных прокопьевское топливо.

сибирский баку

Лет пятнадцать назад геологи нашли в реке Томи кусок чрезвычайно странного угля. Он состоял из черных тонких пластинок, хрупких, как вафли, и очень легко воспламеняющихся — достаточно было поднести зажженную спичку, чтобы они загорелись, точно бумага.

Уголь назвали «томитом», отнесли его к семейству сапропеллевых, к семейству, прародителем которого считается не древесина, как у обыкновенных углей, а камыш и водоросли. Дальше этой научной классификации дело не двинулось, а посему любопытная находка благополучно осела в какой-то университетской коллекции.

Только в 1928 году вспомнили о «томите». Начались тщательные геологические разведки в том районе, где когда-то был найден сапропеллит. Однако нужных результатов они не дали. Тогда геологи, решив, что этот странный уголь занесен в Томи водами какой-нибудь таежной речки, перенесли поиски в тайгу.

Первой экспедицией руководил профессор Кумпан. Неутомимый ученый все лето провел в тайге. Скоро ему удалось напасть на след так безуспешно разыскиваемого сапропеллита. Охотники, проникающие в погоне за зверем в самые укромные таежные уголки, рассказали геологу, что по течению глухой и сердитой речонки Барзасс, порой совершенно зарывающейся в горы гниющего валежника, встречаются нефтяные озера.

Нефтяные озера — значит поблизости есть питающие их пласты. Кумпан свернул к Барзассу. Исследуя его воды, он обнаружил в разных местах куски все того же черного, слоистого странного угля. Стало понятно, что

месторождение его где-то здесь. Но где? Геологические охотники разыскали след «зверя», но сапропеллевая его берлога, т. е. самое для них важное, осталась попрежнему неизвестной.

Тут подошла зима, суровая, не любящая шуток сибирская зима, крепко зажавшая в своих ледяных объятиях и реку, и берега, и недра. Пришлось складывать палатки и убираться во-свояси, удовлетворившись тем, что след найден. А это во всякой охоте — первое дело.

В 1929 году профессора Кумпана сменил другой геолог—Василий Александрович Ористов. Теперь его портреты промелькнули во многих журналах, и личностью энергичного ученого интересуются не только в научных кругах. Но это теперь. Тогда же на Василия Александровича обратили внимание только старые таежники, удивленные тем, что встречают на самых рискованных тропинках, в самых опасных уголках человека в необычной для этих мест одежде, с кожаной сумкой, вооруженного двухстволкой и геологическим молотком.

Ористова они принимали за легкомысленного бродягу, за ленинградского чудака, ищущего острых впечатлений и предупреждали, что его оружие—молоток и охотничье ружьецо — окажется совершенно бесполезным, когда он столкнется со сварливым медведем или сверху на него свалится свирепая россомаха. Бродит тут еще рысь, которая, правда, людей не трогает, но перекусить горло спящему и беспомощному человеку, чтобы испить немножко крови, совсем непрочь. Есть тут и большое разнообразие змей, не отличающихся вегетарианскими наклонностями и не питающих абсолютно никакого уважения к чужеземцам.

Ористов посмеивался, выслушивая строгие советы таежников, дружелюбно раскуривал с ними табак, вни-

мал их наставлениям, как избавиться от мучительной назойливости комаров, и продолжал свое дело — медленно обходил тайгу, внимательно, как враг, выстукивая почву длинным острым молоточком.

Уже наступила слякотная пронизывающая осень, сырость досаждала разведчикам, лесные дороги превращались в топь, рассветы стали холодными, лужицы по утрам стеклянели под тонким, как папиросная бумага, ледком, с осин облетел лист, хвоя темнела, когда в знаменательную отныне дату 26 сентября Ористов отыскал при впадении реки Калжали в Барзасс первый выход на поверхность сапропеллевых углей.

Так возник Барзасский рудник.

Шесть месторождений было открыто в короткий срок. Честь раскрытия еще одного угольного тайника принадлежит тому же Ористову — в 80 километрах от первой своей находки им обнаружена новая сапропеллевая жила. Уже когда начались строительные работы, женщины, стирая белье в речке, наткнулись на большое сапропеллевое гнездо. Заложенная там шахта получила название «Бабьей».

Каждый месяц, каждую неделю кто-нибудь часто после долгих поисков, а часто совершенно случайно находил очередное угольное месторождение. По самым скромным, спешным и далеко не окончательным подсчетам, запасы барзасских сапропеллитов равны 20 млрд. тонн.

Все это я узнал перед поездкой в Барзасс.

Узкая таежная дорога. Глубокий снег. Если навстречу попадаются сани, разъехаться невозможно — начинается долгий, нудный торг, кому сворачивать, чей груз тяжелее, чьи кони выносливей, чья кошева надежней, чьи возжи крепче. Уступить дорогу — это значит загнать

лошадей в сугроб. Поэтому, даже когда ямщики договорятся, вопрос еще не решен — начинают сопротивляться кони, они рвутся из упряжи, буквально выламывая хомут и сгибая оглобли, колотят копытами снег, не обращая внимания на злобную брань ямщиков и свистящий, жалящий кнут.

Все-таки лошадей загоняют в сугробы, и они вылетают оттуда с растрепанными гривами, с белыми клочьями пены, стекающей с удил; еще в более печальном состоянии оказываются сани: меховая полость, кучерское сидение, все уголки, щели и вещи забиты снегом. Пытаться очиститься бесполезно. Вы усаживаетесь в холодную, снежную берлогу и злой, как тысяча дьяволов, продолжаете путь.

Тайга делается все гуще, деревья сходятся тесней, как будто не хотят пропустить дальше путешественников, встречных саней все меньше, пешеходы попадаются совсем редко, если не считать здоровенных зайцев, лихо переметывающихся через дорогу.

— Вот охота! — поворачивается ко мне ямщик, борода и усы которого пышно декорированы инеем.

Дорога однообразна и скучна. Вот наконец показались речка, заваленная сугробами, обледенелый мост и на горе несколько домиков, ушедших в белую завесу дыма.

Оттуда доносится мерное, как тиканье часов, дыхание мотора.

Ористова в Барзассе я не застал, так как он уехал для научного доклада в Ленинград. Геологические и горные работы имеют теперь одно руководство. Начальствует над всем рудничным строительством Семен Александрович Семенов, являющий собой образец стойкости, энергии, жизнерадостности и хозяйственной сметки.

Член партии, давнишний уральский горняк, он в этой суровой «джеклондоновской» обстановке оказался на месте, как никто. С исключительным дружелюбием, с уважением, в котором проскальзывает нотка неподдельного восхищения, относятся к нему и рабочие, и служащие, и геологи, и угрюмые, тугие на почет, таежники.

— К Семену Александровичу даже медведи чувствуют почтение,—говорил мне коллектор Николай Николаевич Пельгорский, старик с большой бородой, передавая всем известный случай, как Семенов столкнулся на тропинке с матерым таежным владыкой, и тот галантно уступил ему дорогу.

Возьмите любого героя Джека Лондона, орудующего где-нибудь на Клондайке, героя, так волновавшего юношеские наши мечты и казавшегося прекрасным жизненным образцом, прибавьте к его качествам, к силе воли, настойчивости, целеустремленности, личной отваге, диковинной выносливости политическую сознательность, хозяйственную зоркость, уменье отстаивать свое дело не только в рукопашной, но и на заседании райкома, ясное представление, ради чего нужно победить тайгу, свернув ее в бараний рог,— получите Семена Александровича Семенова, замечательного барзасского директора.

Целый том, а не скромный размерами очерк нужен для того, чтобы рассказать о подвигах этого человека.

С Семеном Александровичем мы познакомились еще в Кемерове. Я сидел в кабинете главного инженера рудоуправления Гришина. Сам Гришин отсутствовал. Неожиданно в комнату ввалилась фигура в необъятном косматом тулупе. Рыжие усы и худое небритое лицо торчали из мехового воротника.

— Где хозяин?—спросил он, шумно усаживаясь на стул.

В этот день многие щегловские и кемеровские заправилы подверглись крепкому натиску барзасского директора. Он добывал зимнюю амуницию своему отряду, буквально вырывая полушубки и пимы у жадных прижимистых углеснабовских бюрократов.

Семенову нужны люди. Нет инженера, нет техника, нет квалифицированных служащих, нет рядовых рабочих. Кое-кто хотел бы уехать на Барзасс, но их не отпускают профессиональные и партийные организации, исходя из интересов своей городской организации. Вот Семен Александрович и прискакал добиваться всего этого, дав честное слово рудничным товарищам, что не вернется без штейгера, без 80 полушубков, без разрешения на телеграфную линию, без бухгалтера, без механика, без забойщиков.

Целый день воевал Семенов. Домой он выехал ночью, чтобы не терять рабочих минут. Было 50 градусов мороза. Полпути он прошел пешком. Утром мы встретились в Барзассе; длинные сосульки, свисавшие с усов, делали его похожим на моржа, щеки были тронуты коричневыми пятнами легкого обмораживания.

Живет Семенов в конторе. Все столы, стулья, даже мало-мальски просторные ящики там заселены административно-техническим персоналом рудника. В маленькой проходной комнатке стоит семеновская складная кровать. На стене оружие и портрет Ленина. Геологический сборник, два неразрезанных переводных романа и стенографический отчет XVI партийного съезда лежат на подоконнике. В углу свалены номера «Правды».

Железная печь, размерами немного уступающая вагранке и благодаря хитроумной конструкции обогревающая все комнаты конторы, пожирает дрова целыми саженями. К ее горячему плечу жмется продрогший Семе-

нов. Он пьет чай, пьет много и шумно, не переставая ни на одну секунду докладывать о всех кемеровско-щегловских событиях.

— Понимаете, нам прислали теплую одежду, а щегловский углеснаб перехватил и спрятал в свои склады. Я туда — знать не знаем, ведать не ведаем. Вот вредители! А кемеровцы, даром, что мои бывшие сотрудники, думаете, лучше? У них на центральной шахте 7 процентов лишних рабочих. Я к ним, прошу отпустить к нам часть. «Не можем, вы — вот сукины бюрократы — не включены в план снабжения рабочей силой».

Я отлучаюсь на минуту в соседнюю комнату, а вернувшись уже не застаю Семенова.

— Где Семен Александрович? — Кассир смеется.

— Спросите у медведей. Теперь лови тигра в джунглях. Пошел в тайгу, не скоро поймаешь.

Непоседливый директор рыщет там целыми сутками. С месторождения на месторождение носит его косматая взъерошенная лошаденка, запряженная в легкие, низенькие санки. Временами Семенов, привязав ее к дереву, углубляется в чащу. Он ищет строительные материалы. Он серьезно утверждает, что все, кроме технического оборудования и телеграфной проволоки, можно раздобыть в тайге.

Летом им в подтверждение своей теории был найден великолепный серый камень диабаз, крепостью не уступающий граниту. Наскоро создана каменоломня. Заступы энергично заработали. Быстро выросли целые склады камня. Он пойдет на жилищное строительство и сооружение мостов.

Я выхожу из конторы. Передо мной странный, прекрасный своими контрастами вид. Черно-зеленая тайга, деревья, верхушки которых, кажется, скребут облака.

Дикий, мрачный пейзаж — тут же жилой островок, буровая установка в овраге, сизый над ней дым, какой-то тяжелый котел в сугробе, бревенчатые рабочие казармы, красный флаг над столовой. Слышится смех комсомольцев, идущих с топорами на дровяной субботник.

Мирная картина труда. Кучер запрягает в сани чалого мерина, ругая его «прохвостом» и тыча кулаком в покорную морду; счетовод принес Семенову на подпись бумаги; кооперативный приказчик ссорится с возчиком, разбившим бутылки; пекарь вытряхивает мучные мешки; женщина в высоких валенках несет на коромыслах ведра с водой, громко крича:

— Клаша! Клаша... У Миколая Миколаевича печку погляди. А то застудишь старика...

Чтобы создать все это, пришлось сначала пробивать сюда дорогу. Веками укреплялась тайга. Дерево падало на дерево, между ними прорастали кусты, ветви их спутывались, отмиравшие превращались в колючий, рвущий кожу сухой валежник. Лесная чаща казалась неприступной.

Но только казалось. Ее одолели. Одолел человек. Человек наступал вооруженный лопатой и топором, сильный своим сознанием, своей волей к победе. Стране нужен сапропеллит — страна его получит.

Семенов, как полководец, шел впереди, заражая своей энергией рабочих. Не один раз платье висело на нем жалкими лохмотьями. Комары бешено обороняли тайгу. Им помогала мельчайшая, микроскопическая, но назойливая мошкара. На пути наступавшего отряда ложилась коварная, свежезеленая топь. Открытые болота приходили ей на смену.

Сопротивление было напрасным. Путь к сапропеллитам расчищен, пни выкорчеваны, сучья, накоплявшиеся

столетиями, убраны. По новой дороге прошли артели лесорубов, следом потянулись обозы, которые везли все, что было необходимо для закладывания рудничного фундамента.

Пришла зима. Площадка, намеченная для строительства, была старательно заметена бураном, зализана сверху ледяным языком мороза. Надежным панцырем защитилась земля. Сковырнуть его являлось первым заданием строителей барзасского сапропеллевого рудника.

Они поселились в трех километрах от стройки на пчельнике Аполлоныча, старого пасечника, сорок лет сидящего в тайге. Каждое утро странная процессия двигалась по узкой дорожке. Впереди шел Семен Александрович Семенов, держа в одной руке клеенчатый портфель, в другой—суковатую палку; следом за ним плелся кассир, мрачноватый поляк с толстым носом, торжественно неся в охапке всю канцелярию строительства, затем уже тянулась рабочая колонна, вооруженная заступами.

Шествие замыкала рыжая лошаденка, с трудом тащившая по сугробам кошевку, в которой были сложены инструменты и необходимый инвентарь.

Снежный пласт в три метра был снят. Тогда уже приступили к строительным работам, в первую очередь возведя несколько жилых построек.

Поселился я в домике, где обитали Ористов и коллектор Пельгорский. Спали мы в медвежьих мешках. Восемнадцатиградусный мороз бродил по комнате. Железная печурка покраснела от натуги, но подогнать кверху термометровый столбик не смогла, сколько мы ее ни пичкали толстенными поленьями дров.

Николая Николаевича Пельгорского такая температура не очень смущала. Родился он в холоднейшем Иркут-

ске, куда был сослан его отец революционер-народник. Кроме того за шестьдесят лет своей бродячей беспокойной жизни старый коллектор попадал в разные переплеты.

Принимая в течение многих лет участие в геологических экспедициях, он привык и к ледяным ласкам Сибири, и к среднеазиатским солнечным припаркам, и к капризно сменяющейся манчжурской погоде, и к резко континентальному климату Тибета.

— Только спокойно лежите,— посоветовал он мне,— меньше вертитесь и, если не будет жарко, то во всяком случае не закоченеете.

Жарко мне не было.

Утром Николай Николаевич бережно вытаскивает свою коллекцию барзасских сапропеллитов. Он ставит на стол тяжелый ящик и ревниво следит за моими движениями, как будто я перебираю хрупкий фарфор, а не увесистые, многокилограммные угли.

— Дайте, лучше я сам вам покажу,— спохватывается старик, когда на моей ладони оказывается минерал очень любопытной формы.

Он, видимо, серьезно опасается, что неосторожные руки лишат его какого-нибудь ценного экспоната.

Сейчас на всех месторождениях идут буровые работы, пробиваются штуфы, кое-где уже проходят штольни. Есть проект весной заложить шахту промышленного значения, чтобы приступить к созданию сапропеллевого фонда.

Четырнадцать глубоких скважин дают возможность определить, как и где залегают сапропеллиты. Горный профиль скоро будет составлен. В среднем пласты лежат на глубине 25 метров, глубине очень небольшой и весьма удобной для разработок, толщина же их дости-

гает двух с половиной метров. Но это в среднем — попадается уголь и на десяти- и на пятидесятиметровых глубинах.

Николай Николаевич вправе тревожно дергать бороду и беспокойно поглядывать, как обращаются с его добром. Коллекцию он собрал замечательную, несомненно единственную в СССР. Барзасские сапропеллиты представлены здесь во всем своем великолепном многообразии.

Вот например рогожка, которую можно без труда разобрать на отдельные угольные ленточки. Вот тяжелые, ровные, будто отштампованные на станке, плиты. Вот уголь со второго месторождения, резко отличный от своих собратьев — массивный, сплошной черный камень, раскалывающийся по трещинам. Если его хорошенько сжать, то на поверхности выступят, точно на лбу измученного человека, мелкие капли испарины.

В ней, в этой черной испарине, вся величайшая ценность барзасских углей. Сапропеллит — это затвердевшая нефть. Мне неизвестно, какие процессы произошли в земле, вследствие которых нефть не приняла свой обычный жидкий вид и не рванулась фонтаном наверх, а залегла в недрах черными рогожками. Но то, что во всем мире, за исключением Шотландии и Германии, где тоже имеется твердая нефть, но в гораздо меньшем количестве и гораздо худшего сорта, чем в Барзассе, это я уже знаю наверняка.

Пельгорский берет уголь и подносит к нему зажженную спичку. Золотой коптящий язычок ползет по ленточке, роняя на стол черные клочья сажи. Я ловлю легкие ее хлопья и растираю между пальцев. Сажа жирна, похожа на ту, которую дает керосин и которой обильно снабжают хозяек примуса.

Барзасские сапропеллиты долгое время рассылались в лаборатории Москвы, Ленинграда, Харькова, Новосибирска, Томска и отдельным крупным ученым. Все анализы и научные заключения, сделанные в результате многих опытов, доказывают, что новая наша твердая сибирская нефть содержит до 80 процентов полезных продуктов, главным образом бензина и моторного масла.

— Да, вот так штука,— улыбается в бороду Пельгорский, беря одну из сапропеллевых ленточек и кладя ее на лист газеты. Потом он хватает молоток и сильно колотит по углу тупым его концом. Жирное пятно расплывается на бумаге.

Я смотрю в окошко. Недвижно стоят сосны. Тишина. А ведь скоро конец всей этой медвежьей глуши. Великая будущность таежного Барзасса, почетное место займет он в индустриальной Сибири.

Барзасс станет, должен стать сибирским Баку. Шахты и штольни займут окружность по крайней мере в 100 километров. Верхушки сосен заменятся верхушками труб перегонных заводов. Аполлоныч, складывай ульи и убирайся во-свояси! Твои пчелы подохнут от дыма! Россомахи и рыси, сматывайтесь, а то вас раздавят автомобили! Птицы, берите курс на восток — честное слово запутаетесь в телеграфно-телефонно-электрической сети, которую сплетут тут люди за год.

Эти черные угольные ленточки, спокойно лежащие сейчас в ящике коллектора, будут источником, который будет питать бензином и моторным маслом растущую, мощную индустрию богатейшего Урало-Кузнецкого комбината.

последние заметки

— АЛЛО! Станция?! Дайте правый берег! Это правый?! Дайте левый! Что это?! Город?! Да мне город не нужен, мне нужен левый! Алло! Правый, дайте левый! Слушаю левый?! Это левый?! Левый, дайте управление рудником!

Телефонное головокружение, десятки станций, сотни сложных соединений и все не с тем, с кем надо — таково первое впечатление от Кемерово и Щегловска.

Попасть сюда пока еще не очень просто. На ст. Топках нужно пересаживаться в поезд, идущий по Кемеровской ветке. Воскресла ракета Стефенсона. Но не настоящая ракета, прародитель парового локомотива, а то ее юмористическое подобие, которое изобразил Бестер Кейтон в фильме «Наше гостеприимство».

Крохотные, нелепой конструкции, качающиеся вагончики, миниатюрный горластый и бессильный паровоз, спотыкающийся о каждое препятствие, испуганно замирающий на любом подъеме, плетущийся со скоростью самой унылой клячи. Путь в 38 километров мы проделали в 9 часов. Вагон не отапливается. Было жутко холодно.

Проводник, которого пассажиры просили растопить стоящую в углу печь, зловеще сказал:

— Мне не жаль — могу затопить, но чтобы потом, граждане, без претензиев, когда весь дым в аккурат пойдет в вагон и глаза на лоб полезут. Чтобы потом без претензиев...

После вышеуказанного железнодорожного пролога я был готов ко всему. Я ожидал встретить самое тоскливое захолустье, такое, каких уже давно нет в централь-

ной части РСФСР, и можно довольно частенько еще видеть в Сибири. Собственно говоря так и было здесь недавно. Щегловск был просто селом Щегловкой, Кемерово — станционным поселением, к которому примыкал небольшой химический заводик и шахта.

Вместо нынешнего телефонного головокружения существовала одна маленькая станция, и обслуживающие ее девицы могли спокойно читать романы, прочитывая от звонка до звонка страниц полтораста. Тянул городок свою скучную, пустую, провинциальную лямку.

Было это до того, как Центральный комитет большевиков бросил лозунг Большого Кузбасса, до того, как проснулся и воспрянул столько веков проспавший угольный великан.

Ныне же здесь иная картина, картина индустриального даже не подъема, а взлета — так неожиданно на каком-нибудь пустыре забьет высокий нефтяной фонтан, моментально изменяющий все вокруг себя.

Широкая река Томь делит пополам Кемеровско-Щегловскую территорию. На левом берегу, сохранившем еще жидкие старушечьи космы лесов, находится рудник, и издалека уже видны вышки двух его шахт. На правом берегу расположен Щегловск, город, превращенный последней административной реформой из окружного в районный, деревянный, сельского типа город, которому только группа новых многоэтажных каменных строений придает некоторую солидность.

На правом же берегу, на сиротливых пустырях создается крупный индустриальный узел, промышленное значение которого распространяется далеко за пределы Западной Сибири.

Среди пасмурных кемеровских домишек сооружается огромный коксохимический комбинат и знаменитая Теп-

лоэлектроцентраль мощностью в полмиллиона киловатт, долженствующая стать энергетической кормилицей Кузбасса. Голодные механизмы Прокопьевска, агрегаты закладываемых шахт и расширяющихся рудников, новые заводы, новые дороги, новые города — все рожденное и рождаемое пятилеткой ждет ее электрической энергии.

Высокие тепляки выстроились на площадке. Серебряный иней ползет по доскам. Мороз остается за порогом. Люди работают без рукавиц, некоторые сбросили полушубки. Времени у них мало. Темпы требуют напряжения. Уже в 1931 году станция должна дать Кузбассу 144 тыс. киловатт энергии первой очереди. Сейчас заложено 26 башмаков бункерного отделения и 20 опор для колонн машинного зала.

Волею какого-то нелепого решения строительство Теплоэлектроцентрали было отнесено к 4-й категории. Важнейшая стройка, буквально решающая вопрос жизни и смерти Кузбасса, пользовалась правами кустарной мастерской, снабжалась кое-чем и кое-как. Воловьими темпами шли работы.

Спохватились же совсем недавно, когда наконец сообразили, что рубят сук, на котором должна держаться вся угольная промышленность бассейна.

— Сделать стройку ударной,— распорядился центр,— пустить первую очередь обязательно в 1931 году.

Когда телеграф принес это решение, в Кемерове выпал уже первый снег. Несколько раз на площадку набегал буран. Бетономешалки стояли без запасных частей, ржавчина ползла по их металлическим жилам, цемент, завезенный с Яшкинского завода, оказался никуда негодным, мороз разогнал рабочих, сезонники разбрелись по деревням, на строительстве не было главного инженера, не было технического руководства.

Казалось, момент утерян, воля строителей ослаблена, окончательно дезорганизуют их зима и почти полное отсутствие оборудования.

О начальнике строительства Теплоэлектроцентрали Соколовском говорят, что это не человек, а Днепрострой, что его энергия равна миллиону киловатт и он мог бы сам зарядить все агрегаты кузбасской промышленности. Относительно промышленности ручаться не могу, но несравненно более сложные агрегаты, агрегаты человеческой души Соколовский зарядить сумел, сумел увлечь остывших было инженеров, поднять дух начинавших унывать рабочих и повести их на штурм препятствий. Но одного энтузиазма мало. Он требует технического закрепления. Нужны тепляки, нужно кое-какое оборудование, наконец просто лопаты, заступы, цемент — всего этого на строительстве не было. Ждать разверсток из центра долго, зима надвигается.

Тут-то, добывая механизмы, материалы, лес, кирпич, Соколовский проявил рекордную изворотливость, которой позавидовал бы любой коммерческий ловкач.

— Прямо чертовщина,— говорил мне в Новосибирске один ответственный работник Востокугля. — Придет Соколовский чего-нибудь просить. Отказываешь. Не наше, мол, дело. Наседает парень крепче, хватка у него бульдожья. Ну, объяснишь: нет, дескать, и кончено. Нет! Опять наседает. Тогда махнешь рукой и скажешь: ищи! Найдешь, твое счастье. И представьте,— обязательно найдет. Отыщет, сукин сын, там, где мы даже не подозревали, что такой механизм есть.

Соколовский, как ласточка, тащил к себе в гнездо все, что попадалось ему на пути: там прихватил соломинку, там перышко, там комочек глины, там клочок ваты. К изумлению всей Сибири он начал работы в срок.

Хитрая штука быть начальником строительства в Кузбассе.

Гражданская война превратила многих токарей в полководцев, батраков в командующих армиями; реконструктивный период воспитывает замечательных руководителей хозяйства, у которых есть чему поучиться старым юбилейным директорам.

В Кузбассе, где суровая, сложная обстановка сбрасывает с командной вышки всякую неустойчивую, неволевую натуру, директоры подбираются один к одному.

Я только что схематически набросал портрет Соколовского, в прошлом очерке мной показана фигура барзасского директора Семенова, теперь необходимо героическую галлерею хозяйственных вожаков Кузбасса пополнить еще управляющим Прокопьевского рудника, тов. Шевченко.

Вернемся по сему случаю в Прокопьевск. Техническая столовка, чистые скатерти, бумажные цветы на столиках, вежливые официантки в белых косынках, широкий простор меню. Обед. Синих фуражек не видать, но много старых инженерских физиономий, холеных седых усов, строгих пенсне в золотой оправе. Вдруг почти на всех лицах появляется приветливая улыбка, и головы поворачиваются к коридору, откуда ворвался белый, морозный туман.

Распахнулась дверь, и в комнату шагнул, сгибаясь, чтобы не удариться головой о притолоку, огромный детина в черном кожаном костюме. У него добродушное лицо «своего парня», мягкая усмешка, полные губы и веселые, искрящиеся глаза под черным навесом бровей. Капелюха лихо сдвинута на затылок.

Это и есть управляющий крупнейшим угольным районом Кузбасса — Шевченко.

Забойщик Анжерского рудника, недавно сменивший шахтерский обушок на жезл руководителя сложнейшим промышленным хозяйством, оказался на своем новом посту блестящим работником. Скоро крепкую его руку почувствовал весь инженерный и административный персонал рудника. Во все мелочи входил управляющий, упорно изучая каждую деталь дела, чтобы, усвоив ее, иметь возможность руководить не вслепую, иметь возможность самому разобраться в каждом осуществляемом нововведении.

Шевченко много работал над собой. Вечерами, улучая свободные минуты, он корпел над учебниками геометрии и физики, упорно разбираясь в логических хитросплетениях теорем.

Усилия его дали даже дипломные результаты. Шевченко сдал экзамен на горного техника, и теперь ему доступны многие сложные технические планы. Там, где нехватает знаний, берет практическая сметка, природная цепкость ума, изобретательность, творческий полет и пролетарское чутье.

— Знающий парень. Его не надуешь, не проведешь. Он любому инженеру сто очков вперед даст,— характеризовал своего шефа горный инженер Кортелев.

Рабочие очень любят Шевченко, Шевченко любит и понимает их. Управляющий свой, близкий, как сосед по забою, каждому шахтеру. Они говорят с ним откровенно, начистоту, поругивают открыто, ходят к нему в гости, советуются о самых различных вещах. Они с ним за панибрата, зная в то же время, что Шевченко спуску не даст, а в случае чего огреет похлеще, чем кто-нибудь другой.

Я дорисую облик прокопьевского управляющего одним характерным эпизодом. Было это ранним утром.

Только что рассвело. Легкий ветерок возился в сугробах. Смена уже прошла, и площадь около рудоуправления пустовала. Шевченко в расстегнутой тужурке шел не разбирая дороги. В валенки его набился снег, сдвинутая назад шапка выбросила прядь черных волос на мокрый, покрытый угольной испариной лоб.

— В чем дело, Шевченко? — спросил я, пораженный необычным видом всегда веселого, подтянутого, бодрого, энергичного директора.

Он ответил медленно и неохотно:

— Засыпало одного рабочего в шахте № 2. Хороший был парень. Знаете, на гармошке играл. Вот, понимаете, никак не приучусь: как в шахте что-нибудь приключится такое, будто злой нарыв в сердце нарывает...

(У Дворжанчика и Рабиновича[1] сердца не нарывали даже тогда, когда благодаря их хищному хозяйствованию шахта превращалась в братскую могилу сотен рабочих.)

Я хотел бы в эту героическую галлерею поместить также Чирейкина и Моравского, хотя они к хозяйственному руководству Кузбасса никакого отношения не имеют. Но участок, на котором они бились, бьются и побеждают, также чрезвычайно важен, при чем внимания ему не уделялось, к сожалению, никакого.

Придется опять совершить экскурс назад, на Кузнецкстрой. Вот ко мне подходит Бункус, уже знакомый читателю улыбающийся инструктор физкультуры. Он удручен. Каток до сих пор не залит. Из Новосибирска прислали лыжи без палок. В спортивной комнате клуба 15 градусов мороза.

— Хотите убедиться? — Я иду «убеждаться».

---

[1] Вредитель, осужденный по шахтинскому делу.

В клубе холодно, как на льдине. Белая сыпь лежит на деревянных стенах. Четыре паренька в синих майках мужественно мерзнут во имя своих физкультурных принципов. Из соседней комнаты выходит маленький небритый человечек в шерстяном свитере и представляется Чирейкиным.

Чирейкин приехал из Кременчуга, из города, где прошла его комсомольская пора. Он оставил там налаженный, хорошо оборудованный клуб и добровольно махнул в суровый Кузбасс. Приблизительно в то же время явился Моравский, сменивший белорусскую столицу на сибирскую глушь. Они застали здесь пустынное и холодное помещение, несложная архитектура которого напоминала не то зерновой амбар, не то общественную уборную. Строили клуб невероятно рассеянные люди, и находился он в ведении людей, не менее рассеянных.

Прораб Захаров, строящий клуб, забыл сделать так, чтобы двери закрывались, чтобы стены не промерзали насквозь, чтобы из зрительного зала не приходилось совершать в фойе адские прыжки. Кто-то другой забыл поставить вентилятор, третий — дать киноаппарат, четвертый — снабдить клуб стульями, чтобы посетители не стояли, как аисты, на одной ноге. Все забыли о клубе. И рабочие строительства — также. Единственный культурный очаг Кузнецкстроя робко мигнул и погас.

Чирейкин и Моравский поселились на антресолях, построенных на сцене для хранения театрального реквизита. Это было единственное место, где не коченели пальцы. Чтобы попасть в свою «квартиру», приходилось подставлять лестницу и балансировать на узкой доске. Что ж, лестница, так лестница! Ребята не унывали. Они ловко овладели всеми необходимыми для таких путешествий акробатическими приемами и были довольны.

Всякой энергии есть, кажется, предел. Любой напор постепенно ослабевает. Многое, очень многое сделали Моравский и Чирейкин, чтобы привлечь внимание тех, кто распределяет топливные и иные блага, к своему убогому и холодному детищу. Все это действовало, как пресловутый горох на флегматичную стенку. К ребятам поворачивались спиной. Им раздраженно говорили, что сейчас идет строительство, борьба за темпы и нет времени заниматься такими мелочами, как клуб, как кружок, как киноаппарат, как вентилятор, как физкультура...

Казалось бы, что люди, приехавшие издалека, добровольно шагнувшие к личным неудобствам и лишениям, видя такое к себе, к своему делу равнодушие, должны были озлобиться, плюнуть на все, сложить оружие. Моравский и Чирейкин поступили наоборот — они оружие подняли. Воевать так воевать! Путь к социализму — не велосипедная дорожка. Если не хотите вести деликатный разговор, то можно и бока обломать...

И тогда появился «музей». Вы входите в клуб и в глаза бросается яркий плакат, висящий на стене:

«Желающие посидеть в фойе и рабочих комнатах приносят стулья с собой. Заведующий коммунальным отделом Матушкин».

Вы невольно улыбаетесь, еще не понимая, что сие означает, и тут же замечаете багровый аншлаг, прибитый к дверям, выходящим на улицу и припертым толстым поленом:

«Усовершенствованные американские запоры системы прораба Захарова и начальника пожарной охраны Ковалюха. Патент заявлен в Управление строительством».

Теперь вы оглядываетесь и видите, что весь клуб полон такими экспонатами. В углу стоят четыре бака для

воды без кранов и кружек. На них лента: «Последнее достижение санитарной техники. Справляться в постройкоме». Рядом же висит рогожное знамя с рогожными же кистями и пышной рогожной бахромой: «Знамя, на которое соревнуются прораб Захаров, инженер Скоморовский и Матушкин. Жюри — рабочие Кузнецкстроя».

Пол в зрительном зале много выше чем в фойе. Поэтому, чтобы выйти оттуда, приходится прыгать. Когда кончается спектакль и публика густо валит в буфет, происходит форменная катастрофа.

«Аттракцион-гора, вылетай, не задерживай, имени прораба Захарова. Синяки, полученные при ушибах, предлагается именовать захариками».

Куда ни взглянешь — везде экспонаты, бичующие врагов клуба.

Над квадратной дырой в стене, похожей на пустую глазницу, художественно исполненный аншлаг гласит: «Здесь в свое время будут демонстрироваться кинофильмы аппаратом, обещанным постройкомом. Билеты еще не продаются. Улита едет, когда-то будет». Под портретом Амундсена в полярном одеянии подпись: «Прозодежда для посетителей клуба. Для предотвращения несчастных случаев просят строго придерживаться инструкции».

Экспонатов множество. Все они бьют по конкретным носителям зла, называя их имена, фамилии, занимаемые должности и сообщая даже номера домашних телефонов. Публика хохочет. Так создается общественное мнение.

Разговоры, начавшиеся в фойе при рассматривании какого-нибудь экспоната, перебрасываются в цеха, профкомы, ячейки, проникают на общие собрания и в протоколы заседаний.

Жертва музея не имеет покоя. Она боится подходить к телефону, так как из пяти звонков четыре, несомненно, будут на экспонатную тему; она видит кривые улыбочки и еле сдерживаемый смешок подчиненных, она уже не может переносить насмешливо-напряженных лиц приятелей, как бы случайно бросающих:

— А, знаешь, я вчера в клубе был, так там, знаешь, о тебе...

Все это звучит как будто очень весело, но только теперь, после победы. Раньше клуб и его работников буквально топили в полном презрении и забвении. Их ущемляли даже в мелочах, не давали пимы, мытарили с обеденными талонами. Сколько бы людей, честных неплохих работников, встретив такое отношение, давно расхныкались — дескать, мы, добровольцы, дескать, мы ехали сюда за тысячи километров, дескать, живем на антресолях, холодаем, мучаемся — где же благодарность?!

Моравский и Чирейкин—тип новых людей, людей-бойцов, людей, созданных революцией, людей, которые так нужны Кузнецкстрою. В них течет бодрая, боевая комсомольская кровь. Они не пасуют перед неудачами, не хнычут, наткнувшись на равнодушие, не выпячивают обиженно губы, встретив холодное, пренебрежительное к себе отношение.

Моравскому и Чирейкину благодарность не нужна. Они приехали сюда не за похвальными листами. Клуб должен работать — клуб будет работать. Если для этого придется драться — значит они будут драться, дробить дурацкие черепа, убирать пинками с дороги всех, кто мешает раздуть культурный светильник на Кузнецкстрое.

Так думают Моравский и Чирейкин.

На запад, на восток, на юг, на север расширяется Кемерово. Кончился провинциальный сон. Блестящая будущность ожидает этот еще недавно жидкий, жалкий поселок. По соседству с площадкой Теплоэлектроцентрали разбросал свои уже поднявшиеся с фундаментов бетонные корпуса Коксохимический комбинат. 1 октября 1931 года должна быть пущена первая очередь цехов, которая даст 415 тыс. тонн металлического кокса.

А несколько лет назад тут было бурьянное раздолье, в котором справлялись собачьи свадьбы и мальчуганы играли в индейцев. Но в один летний день поставили здесь древесную хижину, похожую на табачный ларек, на табуретке примостилась машинистка, и Петр Константинович Борисов, запинаясь, продиктовал ей приказ № 1 о том, что он вступает в исполнение обязанностей начальника строительства.

Блестящая будущность ждет Кемерово, блестящая индустриальная будущность ждет весь Кузбасс. Кузнецкий металл, тельбесская железная руда, салдирский цинк, прокопьевские, анжерские, ленинские угли, кемеровская электроэнергия и химия, барзасские сапропеллиты — промышленность всего Советского союза найдет надежную опору в мощном, технически совершенном, социалистически организованном Кузбассе.

Кузбасс ведь только подтягивается после вековой спячки. Кузбасс разминает свои индустриальные кости. Кузбасс делает первые шаги. Скоро те, кто был здесь в начале 1930 года, совершенно не узнают его. Ляжет частая сеть железных дорог, при чем ветви их зацепят даже такие таежные уголки, как Барзасс, «мосты повиснут над водами», отступят леса, оставляя только жидкие сосновые рощи, покорятся горы, зачахнут болота под иссушающими лучами мелиорации.

Пусть пока еще мы едем 9 часов от Кемерова до Топок, пусть на Кузнецкстрое переполнены бараки и люди спят втроем на одинарных нарах, пусть бродят медведи по Барзассу, нет нужных механизмов в Прокопьевске, ручными буравами сверлят тельбесские недра. Пусть мало людей, мало вагонов, забиты крохотные полустанки и измучены их изнемогающие начальники, пусть из московского Стальпроекта не шлют рабочих чертежей, рвачи с дипломами капризничают и срывают куши, лес не поддается, железные конструкции опаздывают и приходят в ужасном состоянии...

Кого это смутит?! Кого это заставит сложить оружие и отступить?! Сейчас идет вторичное завоевание Кузбасса. Только уже не разгульная ватага Ермака гонит из улусов горных шорцев, а социалистические батальоны, предводительствуемые геологами и инженерами, сквозь буран и тайгу, сквозь болота и ущелья, по трехметровым сугробам, через медвежьи логова, при морозе, вдребезги разносящем термометры, штурмуют недра.

Поезд идет в Новосибирск. Буран бросается ему под колеса. Снег слепит электрический глаз локомотива. Кузбасс остается позади, в метели, в морозной мгле, Великий Кузбасс, проснувшийся угольный великан, спешно надевающий заводскую броню, чтобы быть готовым к боям за пятилетку, за социализм.

Декабрь 1930 года — январь 1931 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Поезд идет в Кузнецк	3
Трубы на болоте	14
Ударники комсомольцы и мороз	26
Горный Тельбес	39
Гудок в тайге	49
Прокопьевск—столица угля	59
Сибирский Баку	71
Последние заметки	83

60 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, ГСП 1, Богоявленский пер., 4.
КНИГОЦЕНТР
Отдел юношеской и детской литературы